

Иоганн Вольфганг Гёте

ЭГМОНТ

Трагедия в пяти действиях

Оригинал:

[Egmont](#)



1788

Перевод Ю.Верховского

«Эгмонт» — трагедия [Иоганна Гёте](#), издана в 1788 году.

Пьеса дает художественную трактовку событиям в Испанских Нидерландах, предшествовавшим Нидерландской революции.

Ebook: <http://originalbook.ru>

Эгмонт. Иоганн Вольфганг Гете

Трагедия в пяти действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Маргарита Пармская - дочь Карла Пятого, правительница Нидерландов.

Граф Эгмонт - принц Гаврский.

Вильгельм Оранский.

Герцог Альба.

Фердинанд - его побочный сын.

Макьявель - на службе у правительницы.

Рихард - секретарь Эгмонта.

Сильва, подчиненный Альбы

Голец, подчиненный Альбы

Клерхен - возлюбленная Эгмонта.

Ее мать.

Бракенбург - молодой бюргер

Зуст - разносчик

Еттер - портной

Плотник

Мыловар

Буик - солдат под командой Эгмонта.

Рунсум - инвалид, глухой.

Фанзен - писец.

Народ - придворные, караульные и пр.

Место действия: Брюссель.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СТРЕЛЬБИЩЕ

Солдаты и граждане с арбалетами.

Еттер, брюссельский гражданин, портной, выступает вперед и прицеливается из арбалета.

Зуст - брюссельский гражданин, разносчик.

Зуст. Ну, стреляйте же, да в самую точку! Меня не перещеголяете: три черных круга, - так ни в жизнь вам не стрелять. Уж быть мне на этот год мастером.

Еттер. Мастером, да еще и королем. Кто с вами спорит? Зато и взнос двойной придется выложить; за удачу свою придется вам расплатиться - и правильно.

Буйк - голландец, солдат, подчиненный Эгмонту.

Буйк. Еттер, я покупаю у вас выстрел, делю выигрыш и угощаю всех. Я уж столько времени здесь и в долгу за всяческие любезности. А коли я промахнусь, вы, значит, выигрываете выстрел.

Зуст. Можно бы и поспорить, потому что по-настоящему-то я тут остаюсь внакладе. Ну да ладно, Буйк, давай!

Буйк (*стреляет*). Ну ты, шут гороховый, раскланивайся! Раз! Два! Три! Четыре!

Зуст. Четыре круга? Так, так, так.

Все. Ура, - господин король, ура! И еще ура!

Буйк. Спасибо, господа. Не по заслуге. Спасибо за честь.

Еттер. Себя самого благодарите.

Рунсум - фрисландец, инвалид, глухой.

Рунсум. Что я вам скажу!

Зуст. Как живешь, старина?

Рунсум. Что я вам скажу! Стреляет он, как его господин, стреляет, как Эгмонт.

Буйк. Перед ним я просто - никуда. Стреляет он, как никто на свете. И не то что когда в ударе, или вдруг повезет, - нет! Всякий раз как прицелится, без промаха в черную точку. У него я и научился. Тот был бы уж плохота, кто, при нем

служа, да ничему бы не выучился. Однако не забудем, господа: король питает своих подданных, ну, значит, - подать сюда вина на королевский счет!

Еттер. А у нас так полагается, чтоб каждый...

Буйк. Я не здешний, да еще король, и не признаю ваших правил и обычаев.

Еттер. Да ты покруче испанского короля: он с этим пока оставлял нас в покое.

Рунсум. Что говоришь?

Зуст (*громко*). Он собирается нас угощать. Слышать не хочет, чтобы мы сделали складчину, а король бы только дал двойную долю.

Рунсум. Пускай себе! По крайней мере, без церемоний! Это тоже повадка его господина - на широкую ногу жить и всему вольный ход давать.

Приносят вино.

Все. Да здравствует его величество! Ура!

Еттер (*Буику*). То есть это за вас, ваше величество.

Буйк. Спасибо от всего сердца, раз уж так полагается.

Зуст. Само собой! А за здоровье нашего испанского величества всякий нидерландец пьет с трудом от чистого сердца.

Рунсум. За чье это?

Зуст (*громко*). Филиппа Второго, короля испанского.

Рунсум. Короля всемилостивейшего и владыку нашего? Дай ему бог многие лета!

Зуст. Разве не больше вам по душе был родитель его, Карл Пятый?

Рунсум. Упокой, господи, душу его! Вот это был владыка! Десница его всем светом владела, и был он - все во всем; а как повстречает тебя, поздоровается, словно сосед с соседом, а чуть оробеешь, умел он так обходительно - прямо, понимаете ли... Выходил он или верхом выезжал, как ему вздумается, почти что вовсе без свиты. Уж как мы все плакали, когда он передал правление сыну! Этот - понимаете ли... как бы вам сказать? - совсем другое дело, он гораздо более "высочайший".

Еттер. Когда он был здесь, он не показывался иначе как во всем королевском великолепии. Говорят, он молчалив.

Зуст. Это государь не про нас, нидерландцев. Наши властители веселы и вольны должны быть, - чтобы жили и другим жить давали. Не хотим мы, чтобы нас притесняли да прижимали, пусть мы и простаки благодушные!

Етгер. Король наш, так я думаю, верно, был бы государь милостивый, будь бы только советчики у него получше.

Зуст. Нет, уж нет! Не по душе мы ему, нидерландцы, не лежит его сердце к народу, не любит он нас. Как же и нам его любить? Отчего так всему свету мил граф Эгмонт? Отчего мы его на руках готовы носить? Да взглянешь на него - к нам он всей душой. Да у него в глазах - веселие, свободная жизнь, доброе о людях мнение. Да ведь нет ничего, чем бы он с другим не поделился у кого в чем нужда, а то и без нужды. Жить да поживать графу Эгмонту! За вами, Буик, первая здравица! Провозгласите ее вашему господину.

Буик. Да от всей души. Ура графу Эгмонту!

Рунсум. Победителю при Сен-Кентене!

Буик. Герою Гравелингена!

Все. Ура!

Рунсум. Сен-Кентен - мое последнее сражение. Я уж едва мог идти да тащить свое тяжеленное ружье. А все-таки успел еще разок французам шерсть подпалить, да схватил на прощанье еще лишнюю царапину в правую ногу.

Буик. Гравелинген! Да, друзья мои, жарня тут была! Мы, одни на своих плечах вынесли победу. Не всю ли Фландрию разгромили тогда валлонские собаки? Однако, я думаю, от нас им таки попало! Старые их силачи долго выдерживали, а мы напирали, палили, рубили и под конец свернули им скулы и прорвали строй. Тут под Эгмонтом была убита лошадь, и мы долго бились в настоящей свалке - человек на человека, лошадь против лошади, куча с кучей на широких ровных песках у моря. Вдруг словно с неба свалилось - от самого устья реки - трах-тарарах! - посыпались пушечные залпы на французов. Оказалось, англичане под командой адмирала Малина случайно проходили из Дюнкирхена. Правда, они немного нам помогли: им можно было только на мелких судах к нам подойти, и то не очень близко, да и в нас они попадали, а все-таки они помогли. Это валлонцев сломило, а нам подняло дух. Тут-то пошло! Все кувыркком полетело, перебили их, в море перетопили! Эти молодцы тонули, как только в воду свалятся. А мы - недаром голландцы! - вниз головой за ними. Мы-то в воде, как дома! И плавали себе, как лягушки; в реке кучу врагов порубили, перестреляли, как уток; а которые и повыплывали, тех на берегу

бабы тамошние сечками да вилами побили. И пришлось валлонскому величеству лапку протягивать да мир заключать. И миром обязаны вы нам, обязаны великому Эгмонту!

Все. Ура! Великому Эгмонту ура! И еще раз - ура! И еще - ура!

Еггер. Вот его бы нам в правители на место Маргариты Пармской!

Зуст. Ну уж нет! Правда правдой! Не дам бранить нашу Маргариту. Теперь мой черед. Да здравствует милостивая госпожа наша!

Все. Да здравствует!

Зуст. В самом деле, достойнейшая женщина в этом царствующем доме. Да здравствует правительница!

Еггер. Умна и должную меру знает во всем, что делает. Только не так бы крепко держалась она попов! И грех на ее душе, что в нашей стране прибавилось четырнадцать новых епископских кафедр. К чему это нужно? Право, только к тому, чтобы чужестранцев пристраивать на теплые места, где до тех пор местные настоятели сидели, а мы - изволь верить, что это во благо церкви. Да, уж это так. Нам вполне довольно было трех епископов: все шло прилично и добропорядочно. А теперь один перед другим старается показать, что он-де и есть нужный человек; ну и выходят каждую минуту вздоры и споры. Дело раскачивается да расшатывается - что больше, то хуже.

Пьют.

Зуст. Да ведь это было по воле короля. Тут уж она ничего не могла поделать.

Еггер. Вот теперь не смей петь новые псалмы! Так-то складно они в стихи переложены и напевы такие назидательные! И вдруг - петь не смей! А зазорные песни - сколько душе угодно. В чем дело? Там, видишь ли, ересь сокрытая, говорят, и бог весть еще какие штуки. Да я и сам их певал и никаких этих выдумок не приметил.

Буйк. Вот извольте видеть! А у себя в провинции мы поем, что хотим. А это значит, что наместник у нас граф Эгмонт. Он ничего такого не требует. В Генте, в Иперне, по всей Фландрии - что кому любо, тот то и поет. (Громко.) Что может быть невиннее, чем духовная песня? Не так ли, дед?

Рунсум. Само собой! Ведь это дело богоугодное, поучительное.

Еггер. А вот они говорят, что это, мол, не по закону, не по-ихнему то есть, и оттого, мол, это опасно и лучше не надо. А служители инквизиции шныряют

вокруг, и смотришь - тут как тут: сколько уже добрых людей пострадало. Не хватало еще насилия над совестью! Коли я уж делать не смей, что заблагорассудится, так могли бы, по крайней мере, оставить меня думать и петь, что захочу.

Зуст. Ничего инквизиция не добьется. Мы не так скроены, как испанцы, не дадим тиранить свою совесть. И дворянам следует найти удобный случай да крылья ей подрезать.

Еттер. Это невыносимо. Взбредет на ум этим милым господам нагряться в мой дом; а я сижу, работаю и как раз мурлычу французский псалом, а сам ничего не думаю - ни худого, ни хорошего, а мурлычу его потому, что он сам собой поется. И вдруг я - еретик и в тюрьму посажен. Или иду я себе в деревне и останавливаюсь возле кучи людей - слушают они нового проповедника, из тех, что понашли к нам из Германии. И тут же объявляют меня изменником, и, того и гляди, - головой поплачусь. Доводилось вам слышать такую проповедь?

Зуст. Смелый народ! Намедни слышал я, как один такой на лугу перед целыми тысячами говорил. Совсем другое кушанье, не то, что как наши с кафедры барабанят да людей латинской окрошкой напихивают. Этот говорил напрямик, говорил, как те до сих пор нас за нос водили, в умственной тьме держали и как мы могли бы побольше просвещения получить. И все это доказательствами из библии подтверждал.

Еттер. Да, тут в самом деле что-то есть. Я сам всегда это говорил и так об этом деле подумывал. Это уж давно мне в голову приходит.

Буйк. За ними народ валом валит.

Зуст. Я думаю! Ведь тут услышишь немало и доброго и нового.

Еттер. Да и в чем тут дело? Неужели нельзя дать каждому на свой лад проповедовать?

Буйк. Приободритесь, господа! За болтовней вы позабыли о вине и о принце Оранском.

Еттер. Нельзя о нем забывать. За ним, как за каменной стеной. Только подумаешь о нем, как в ту же минуту и знаешь, что за ним можно спрятаться, так что сам черт не откопает. Ура Вильгельму Оранскому! Ура!

Все. Ура! Ура!

Зуст. Ну, старик, скажи и ты свое здравие.

Рунсум. Старые солдаты! Все солдаты! Война да здравствует!

Буик. Здорово, старина! Все солдаты! Война да здравствует!

Еттер. Война, война! Понимаете ли вы, что накликаете? Очень просто, что это легко у вас с языка срывается, а каково солоно от этого иным приходится, я и высказать не могу. Целый год слушать барабанный бой и только и слышать, что там прошел отряд, а там другой, как они перешли такую-то возвышенность и стали у такой-то мельницы, сколько времени оставались тут, сколько там, и какой был натиск, и как одни побили, другие побиты, - так что никак не разберешь, кто взял верх, кто понес урон. Как взят такой-то город и граждане перебиты, и каково пришлось бедным женщинам и невинным детям. Всюду беда и страх, и всякую минуту мысль: "Вот они идут! И нас ожидает то же!"

Зуст. Поэтому и нужно всегда уметь каждому гражданину владеть оружием.

Еттер. Да, особенно тому, у кого жена и дети. Оттого-то мне приятнее слышать о солдатах, чем их видеть.

Буик. Ведь я могу на это обидеться.

Еттер. Не о вас это сказано, земляк. Только избавившись от испанских гарнизонов, мы отдышались.

Зуст. А что, тебе, верно, туго от них пришлось?

Еттер. Вот языком треплет!

Зуст. А сурова была их стоянка у тебя?

Еттер. Помалкивай!

Зуст. Они вытурили его из кухни, из погреба, из комнаты, из постели.

Смеются.

Еттер. Глупая голова!

Буик. Не ссорьтесь, господа! Неужели солдату приходится призывать к миру? Ну не хотите слушать никаких наших разговоров, так провозглашайте ваши заздравия мирных граждан.

Еттер. От этого мы не прочь. Безопасность и покой!

Зуст. Порядок и свобода!

Буик. Отлично! Этому мы рады!

Чокаются и весело повторяют слова, но таким образом, что один вызывает другого, и получается нечто вроде канона.

Старик вслушивается и под конец присоединяется к ним.

Все. Безопасность и покой! Порядок и свобода!

ДВОРЕЦ ПРАВИТЕЛЬНИЦЫ

Маргарита Пармская в охотничьем наряде.

Придворные, пажы, слуги.

Правительница. Отменить охоту. Сегодня я не еду. Сказать Макьявелю, чтобы явился ко мне.

Все уходят.

Мысль об этих страшных событиях не дает мне покою! Ничто не может меня занять, ничто не может рассеять. Все передо мною эти картины, эти заботы. Теперь король скажет, что это - последствия моей доброты, моей снисходительности. А все же совесть моя каждую минуту говорит мне, что я делала так, как всегда полезнее, всего лучше. Неужели мне должно было с самого начала бурею гнева раздуть и разлить вокруг этот пожар? Я надеялась, что окружу его, что он погаснет сам собой. Да, все, что я сама себе говорю, все, в чем я глубоко уверена, оправдывает меня перед самой собою; но как воспримет это брат мой? Нельзя отрицать, что задор чужеземных учителей растет со дня на день. Они ругались над нашей святыней, они расшатывали неповоротливую мысль простонародья и вели его на путь сумасбродства. Нечестивые души смешались с возмутителями, и совершились ужасные дела, о которых страшно подумать и о которых теперь именно я обязана известить двор как можно скорее, пока не предупредила меня общая молва, чтобы король не подумал, что от него хотят скрыть нечто худшее. Я не вижу никакого способа, ни сурового, ни мягкого, отвести беду. О, что такое мы, великие мира, на морском гребне человечества? Мнится нам, что мы им властвуем, а оно швыряет нас вверх и вниз, взад и вперед.

Макьявель входит.

Правительница. Составлены ли письма к королю?

Макьявель. Через час благоволите их подписать.

Правительница. Достаточно ли обстоятельно написали вы доклад?

Макьявель. Обстоятельно и подробно, как то любит король. Я излагаю, как сначала в Сент-Омере возникло иконоборческое неистовство. Как яростная толпа, запасшаяся палками, топорами, молотками, лестницами, веревками, сопровождаемая малой кучкой вооруженных, сперва врывалась в часовни, в церкви, в монастыри, изгоняла людей богобоязненных, взламывала запертые ворота, все ниспровергала, опрокидывала алтари, разбивала статуи святых, губила все иконы, все, что только находила священного и освященного, - все громила, рвала, растапывала. Как, подвигаясь дальше, толпа разрасталась, как жители Иперна отворили перед нею ворота. Как она с невероятною быстротой разорила собор, сожгла библиотеку епископа. Как громадная лава людей, охваченная тем же безумием, разлилась по Менину, Комину, Фервику и Лиллю, нигде не встречая отпора, и как в одно мгновение ока почти по всей Фландрии этот чудовищный заговор обнаружился и осуществился.

Правительница. Ах, как снова мне больно, когда опять слушаю этот рассказ! И к этому присоединяется ужас, что бедствие будет все разрастаться и разрастаться. Скажите, что вы об этом думаете, Макьявель?

Макьявель. Не гневайтесь, ваше высочество, ежели мысли мои представятся столь подобными химерам. И хотя вы постоянно бывали довольны моею службой, но редко благоволили пользоваться советами моими. Часто в шутку изволили вы говорить: "Ты слишком далеко глядишь, Макьявель! Тебе бы быть историком. Кто действует, должен озабочиваться ближайшим". И все же не рассказал ли я заранее этой истории? Не видел ли я вперед всего, что случилось?

Правительница. Я тоже многое предвижу, чего изменить не в силах.

Макьявель. Скажу лишь одно слово вместо тысячи возражений. Вам не подавить нового учения. Допустите существование его последователей, отделите их от верных католической церкви, дайте им храмы, введите их в общий гражданский порядок, но ограничьте их - и вы сразу возмутителей приведете к спокойствию. Всякие другие средства тщетны - и вы ввергнете страну в разорение.

Правительница. Разве забыл ты, с каким отвращением брат мой отверг самый мой вопрос, нет ли возможности терпимо отнестись к новой вере? Разве забыл ты, что в каждом письме своем он внушает мне ревностнейшее оберегание истинной веры? Что он и мысли не допускает о восстановлении мира и единения - ценою религии? Не содержит ли он сам, в провинциях, неизвестных

нам шпионов для распознавания тех, кто склонен к новому образу мыслей? Не называл ли он нам, к нашему изумлению, и такого-то и такого-то из близко к нам стоящих, кто втайне предался ереси? Не предписывал ли он суровости и проницательности? И я должна проявить мягкость, я должна склонять его к потворству и терпимости? Неужели я не потеряла бы его доверенность, его доброе мнение?

Макьявель. Я знаю очень хорошо: король повелевает, король доводит до вашего сведения свои замыслы. Вы должны восстановить спокойствие и согласие путем мероприятия, которое еще более раздражит умы, которое неминуемо раздует пожар войны по всем местам. Обдумайте, что совершаете вы. Крупнейшие купцы вовлечены в движение, дворянство, народ, солдаты. К чему упорно стоять за свой образ мыслей, когда все вокруг нас меняется? Когда бы какой-нибудь добрый дух смог внушить Филиппу, что пристойнее королю править гражданами двух вероисповеданий, нежели при посредстве одной части уничтожать другую!

Правительница. Ни слова больше об этом! Я отлично понимаю, что политика редко в состоянии соблюдать честность и верность, что она вытравляет из сердца прямоту, добросердечие, сговорчивость. В делах мирских это, к сожалению, даже слишком верно. Но неужто нам и с богом забавляться так же, как между собою? Неужто нам оставаться равнодушными к своему испытанному вероучению, за которое столь многие принесли в жертву жизнь свою? Неужели должны мы променять его на пришлые, неизвестные, противоречивые новшества?

Макьявель. Только по этой причине не думайте обо мне хуже, чем до сих пор.

Правительница. Знаю тебя и верность твою и допускаю, что можно быть добропорядочным и рассудительным человеком, даже и сбиваясь с прямой лучшей дороги к спасению души своей. Есть еще, Макьявель, и такие люди, которых приходится мне и почитать и порицать.

Макьявель. Кого вы имеете в виду?

Правительница. Должна признаться - Эгмонт сегодня до самой глубины души взволновал меня.

Макьявель. Каким поступком?

Правительница. Все той же обычной беспечностью и ветренностью. Я получила ужасное известие, когда шла из церкви, сопровождаемая многими и среди них Эгмонтом. Я не могла скрыть своей скорби, вслух жаловалась и

воскликнула, обращаясь к нему: "Смотрите, что происходит в вашей провинции! Это допускаете вы, граф, на которого король во всем положился?"

Макьявель. И что же он ответил?

Правительница. Как будто это были пустяки или совсем постороннее дело, он возразил: "Только бы нидерландцев успокоили в отношении их гражданского устройства, а прочее легко уладится!"

Макьявель. Пожалуй, он сказал как нельзя более умно и умеренно. Какое может явиться и оставаться доверие, когда нидерландцу ясно, что дело тут больше касается его недвижимости, чем его блага и спасения? Разве новые епископы больше душ спасли, чем проглотили жирных приходов? Да еще они по большей части чужеземцы. Правда, наместнические моста пока что удерживались за нидерландцами, но разве не очевидно, что испанцы жадно стремятся на эти места? Как не предпочесть народу, чтобы им правили по его обычаям и свои люди, чем иностранцы, которые прежде всего стараются в новой стране сделаться собственниками на чужой счет, которые приносят с собой свои мерки и властвуют сурово и без всякого снисхождения?

Правительница. Ты становишься на сторону противников?

Макьявель. Сердцем, конечно, нет, но я хотел бы получить возможность и разумом быть целиком на нашей.

Правительница. Если так, то, по-твоему, выходит, что мне следовало бы в их пользу отказаться от правления: ведь Эгмонт и принц Оранский питают великую надежду завладеть моим местом. Когда-то они были соперниками; теперь соединились против меня, теперь они стали друзьями, неразлучными друзьями.

Макьявель. Небезопасная пара!

Правительница. Сказать откровенно, я боюсь принца Оранского и мне страшно за Эгмонта. Не о хороших делах думает принц Оранский. Замыслы его вдаль простираются; он скрытен; как будто все принимает, никогда не возражает и с глубочайшей почтительностью, с великой осторожностью делает, что ему угодно.

Макьявель. Напротив того, Эгмонт открыто идет твердым шагом, как будто мир ему принадлежит.

Правительница. Он так высоко несет голову, словно не парит над ним царственная десница.

Макьявель. Взоры всего народа устремлены к нему, и сердца ему привержены.

Правительница. Никогда он не избегал находиться у всех на виду, как будто никто не может потребовать у него отчета. И к тому же он носит имя Эгмонта. Он радуется, что его называют граф Эгмонт, словно ему не хотелось бы забыть, что предки его были владетельными князьями Гельдерна. Почему не называется он принцем Гаврским, как ему подобает? Для чего это? Не хочет ли он вернуть значение своим утраченным правам?

Макьявель. Я почитаю его за верного слугу короля.

Правительница. При желании, какой заслуженной особой мог бы он сделаться в глазах правительства вместо того, чтобы без всякой для себя пользы доставлять нам несказанные неудовольствия! Его вечера, званые обеды и пиры более объединили и сплотили дворянство, чем самые опасные тайные объединения. В его тостах гости почерпнули длительное опьянение, никогда не проходящее головокружение. Как часто своими шутливыми речами приводит он в возбуждение умы народа, и как изумлялось простонародье новым ливреям и глупым нашивкам прислуги!

Макьявель. Уверен, что это без умысла.

Правительница. Но очень дурно. Я говорю: нам вредит, и себе выгоды никакой. Он к серьезным вещам подходит шутливо, а нам, чтобы не казаться пассивными и беспечными следует и к шутливому относиться серьезно. Так одним вызывается другое, и от чего стараешься избавиться, то сначала нужно улаживать как следует. Он опасней, чем настоящий зачинщик заговора, и я не ошибаюсь: таким его при дворе и считают. Не скрою, редко бывает, чтобы он не ставил меня в щекотливое, очень щекотливое положение.

Макьявель. Мне кажется, он во всем действует по совести.

Правительница. У его совести услужливое зеркало. Его обхождение зачастую оскорбительно. Часто у него такой вид, словно он живет в полном убеждении, что он надо всеми господин и только из предупредительности не дает это почувствовать, открыто не прогоняет нас: к тому дело и идет.

Макьявель. Прошу вас, не считайте слишком опасной его прямооту, его беспечный нрав, легко относящийся ко всему важному. Этим вы только вредите ему и себе.

Правительница. Я ничего не перетолковываю. Я говорю только о неизбежных последствиях, я знаю его. Его нидерландское дворянство и Золотое Руно на

груди укрепляют его уверенность, его дерзость. Дворянство и Руно оборонят его в случае произвольного, внезапного неудовольствия короля. Разбери строго: ведь он один виноват в несчастиях, какие претерпевает Фландрия. Он прежде всего стал потворствовать иноземным проповедникам, он не отнесся ко всему этому достаточно строго и, может быть, втайне радуется, что нам это наделало немало хлопот. Дай мне сказать! Мне необходим этот случай излить все, что у меня на сердце. И я не хочу зря пускать свои стрелы, я знаю его слабое место. И у него есть слабое место.

Макьявель. Приказали ли вы созвать заседание совета? Будет ли присутствовать и принц Оранский?

Правительница. Я за ним послала в Антверпен. Хочу, сколько возможно, сложить на них груз ответственности. Им придется вместе со мной либо противостоять беде, либо проявить себя бунтовщиками. Скорей приготовь письма и принеси их мне на подпись. Затем пошли сейчас же в Мадрид испытанного нашего Васка - он неутомим и верен, - пусть мой брат прежде через него получит известие, пусть молва его не перегонит. Перед его отправлением я хочу еще сама говорить с ним.

Макьявель. Повеления ваши незамедлительно и точно будут выполнены.

ДОМ ГОРОЖАНИНА

Клерхен. Мать Клерхен. Бракенбург.

Клерхен. Так вы не хотите держать мне пряжу, Бракенбург?

Бракенбург. Пожалуйста, увольте, Клерхен.

Клерхен. Что это опять с вами? Почему отказываете вы мне в этой небольшой и приятной мне услуге?

Бракенбург. Вы одной ниткой так крепко привязали меня, что сижу перед вами, и нет сил уйти от ваших глаз.

Клерхен. Глупости! Подвигайтесь и держите!

Мать (*вяжет, сидя в кресле*). Ну-ка спойте что-нибудь. Бракенбург так славно вторит. Прежде вы были веселы, и мне всегда был случай посмеяться.

Бракенбург. Прежде!

Клерхен. Хорошо, споем.

Бракенбург. Что вы хотите?

Клерхен. Только что-нибудь хорошенькое, бодрое и веселое. Давайте солдатскую песню, мою любимую. (*Мотает пряжу и поет с Бракенбургом.*)

И бой барабанный,
И флейта поет,
В доспехах мой милый
Отряд свой ведет,
К бойцам он взывает,
Копье подымает.
Как сердце забилося!
Как силы кипят!
Завиден мне, деве,
Военный наряд!
За ним до заставы
Я - шагом живым!
Пошла бы далеко,
Повсюду за ним.
Уж смят неприятель,
Лишь стали палить.
О, если б, создатель,
Мне воином быть!

Во время пения Бракенбург часто взглядывает на Клерхен. Под конец у него срывается голос и на глазах выступают слезы; он роняет нитки и отходит к окну. Клерхен одна допевает песню. Мать с некоторым недовольством делает ей знаки. Она встает, делает несколько шагов к нему, с некоторой нерешительностью возвращается и садится.

Мать. Что такое на улице, Бракенбург? Я слышу, идут солдаты.

Бракенбург. Это телохранители правительницы.

Клерхен. В такой час? Что это должно значить? (*Встает и подходит к окну, где стоит Бракенбург.*) Это не каждодневная стража, их много больше. Чуть не все

взводы. Ах, Бракенбург, ступайте! Послушайте там, в чем дело! Верно, произошло что-нибудь особенное. Сходите, добрый Бракенбург, доставьте мне удовольствие.

Бракенбург. Иду! И сейчас же вернусь обратно. *(Уходя, протягивает ей руку; она подает ему свою.)*

Мать. Ты опять отсылаешь его прочь.

Клерхен. Я страх как любопытна! А еще - уж вы не осуждайте меня, - когда он здесь, у меня постоянно тяжело на душе. Я никогда не знаю, как вести себя с ним. Я несправедлива к нему, он это так живо чувствует, и это грызет мне сердце. А изменить положение я не в силах.

Мать. Это такой надежный малый.

Клерхен. Вот я и не могу пренебречь им, я должна встречать его дружелюбно. Часто рука моя неожиданно сжимается, когда он так осторожно, так ласково дотрагивается до нее своей рукой. Я укоряю себя, что питаю в его сердце тщетную надежду. Это так дурно с моей стороны. Но, бог свидетель, я его не обманываю! Не хочу питать в нем надежды и не могу допустить его до отчаяния.

Мать. Нехорошо это.

Клерхен. Я его очень любила, и в душе до сих пор хорошо отношусь к нему. Я могла бы выйти за него замуж, а думаю, что никогда не была в него влюблена.

Мать. И все-таки была бы счастлива с ним.

Клерхен. Была бы обеспечена и прожила бы спокойную жизнь.

Мать. И все это прозевано, и ты сама виновата.

Клерхен. Удивительно мое положение! Когда я так вот раздумываю, как все это шло, я и понимаю и не понимаю. А потом, как осмелюсь еще разок взглянуть на Эгмонта, все совсем проясняется, и могло бы стать еще гораздо ясней. Ах, какой человек! В провинциях повсюду на него прямо молятся, и я в его объятиях разве не была бы блаженнейшим созданием на свете?

Мать. Как же все это в будущем-то устроится?

Клерхен. Ах, мне важно только, любит ли он меня. А что любит разве это вопрос?

Мать. С детьми ничего не знаешь, кроме душевной тревоги. Как все это развяжется? Вечная забота да кручина. Неладно выходит. Ты себя несчастной сделала. И меня несчастной сделала.

Клерхен (*спокойно*). Вы сами сначала это допустили.

Мать. К несчастью, я была слишком добра, я всегда слишком добра.

Клерхен. Когда Эгмонт скакал мимо, а я подбегала к окошку, бранили вы меня тогда? Не подходили ли вы сами к окну? Когда он заглядывал, кивал мне, усмехался, клялся, - было это вам противно? Не находили ли вы, что вместе с дочерью и вам тут почет и уважение?

Мать. Так, попрекай меня еще!

Клерхен (*в возбуждении*). Когда он все чаще и чаще стал проходить мимо нас по улице, и мы ясно почувствовали, что ради меня он ходит этой дорогой, разве вы сами не с затаенной радостью это заметили? Оттащили вы меня силком, когда я стояла у притолоки и выжидала его?

Мать. Помышляла ли я, что это должно было зайти так далеко?

Клерхен (*срывающимся голосом и сдерживая слезы*). А как он вечером, закутанный в плащ, застал нас врасплох у лампы, кто пустился хлопотать, чтобы принять его, меж тем как я осталась словно прикована к стулу в изумлении?

Мать. Ну могла ли я бояться, чтобы эта злосчастная любовь так скоро увлекла рассудительную Клерхен? А теперь мне приходится переносить, что дочь моя...

Клерхен (*заливаясь слезами*). Матушка! Вы сами того хотели. Радуйтесь теперь, запугивайте меня!

Мать (*плача*). Плачь, плачь! Делай меня еще несчастней отчаянием своим! Мало мне печали, если единственная дочь моя стала отверженным созданием?

Клерхен (*поднимаясь с места, холодно*). Отверженным! Подруга Эгмонта - отверженная? Какая бы княгиня не позавидовала месту бедной Клерхен - у его сердца! О матушка, матушка моя, прежде вы так не говорили. Матушка, милая, будьте доброй! Люди, что так судят, соседки, что этакое болтают, - пусть! Эта комната, этот домик - небеса, с той поры как живет здесь любовь Эгмонта!

Мать. Правда! К нему нельзя не чувствовать склонности. Всегда он такой обходительный, непринужденный, открытый.

Клерхен. В нем нет и капли неискренности. И - вы понимаете, матушка? - ведь это сам великий Эгмонт! А когда он приходит ко мне, он такой милый, такой добрый, он готов скрывать свое высокое положение, свою храбрость! Он так заботливо относится ко мне! В нем так чувствуется только человек, только друг, только возлюбленный!

Мать. Как ты думаешь, придет он сегодня?

Клерхен. Что же, вы не видели, как часто подхожу я к окну? Не заметили, как прислушиваюсь ко всякому шуму за дверью? Хоть и знаю, что не придет до ночи, а все поджидаю каждую минуту, с самого утра, как только встану. Ах, если бы только быть мне мальчиком и всегда ходить вместе с ним! И ко двору, и везде! Я могла бы нести за ним знамя в бою.

Мать. Ты всегда была такой причудницей, с первых детских лет - то резва до крайности, а то задумчива - тише воды, ниже травы. Не оденешься ли ты немножечко понарядней?

Клерхен. Пожалуй, матушка! Ежели заскучаю. Знаете, вчера проходили мимо несколько его молодцов и пели о нем хвалебную песенку. Во всяком случае, в песне поминалось его имя; остальное я не смогла разобрать. Сердце так забилося, что дух захватило! Кабы не было бы совестно, я бы их кликнула.

Мать. Остерегайся! Пылкий твой нрав может все погубить. Ты прямо выдаешь себя перед людьми. Как на днях у дядюшки: нашла печатную картинку и описание - и благим матом закричала: "Граф Эгмонт!" Я до ушей покраснела.

Клерхен. Еще бы мне не закричать! Это была битва при Гравелингене. И я вижу вверху картины букву Э - и снизу в описании отыскиваю Э. Там написано: "Граф Эгмонт, под которым падает убитая лошадь". Меня всю всколыхнуло - и сейчас же пришлось мне рассмеяться над тем, в каком виде изображен был Эгмонт: такой же вышины, как гравелингенская башня рядом с ним и английские корабли по другую сторону. Когда иной раз я вспоминаю, каким я когда-то рисовала себе сражение и что за образ представлялся мне, когда вы рассказывали о графе Эгмонте, и каков он теперь передо мной...

Бракенбург входит.

Клерхен. Ну что там такое?

Бракенбург. Ничего в точности неизвестно. Во Фландрии будто вспыхнуло восстание. Правительница должна озаботиться, а то оно может и сюда

докатиться. Замок набит войсками, толпы горожан у ворот, и народ гудит на улицах. А мне нужно поскорее к старику отцу. (*Собирается уйти.*)

Клерхен. Увидим ли вас завтра? А я хочу немножко приодеться: к нам придет дядюшка, а у меня довольно неряшливый вид. Помогите мне немного, матушка. Захватите вашу книгу, Бракенбург, и принесите мне еще какую-нибудь такую же повесть.

Мать. До свидания.

Бракенбург (*протягивает руку*). Позвольте руку!

Клерхен (*не подавая руки*). Когда вернетесь.

Мать и дочь уходят.

Бракенбург (*один*). Я заранее решил, что в самом деле уйду, а когда она это так и поняла и дала мне уйти, я готов был прийти в бешенство. Злосчастный! И тебя не тревожит жребий твоей родины? Разрастающееся возмущение? И тебе все равно: соотечественник или испанец, и кто правит, и кто прав? Не такой ведь я был мальчишкой-школьником! Когда задавали там сочинение: "Речь Брута о свободе как образец ораторского искусства", - тут ведь Фриц постоянно оказывался первым, и учитель говорил: "Вот если б только это было изложено поправильней, не спотыкалось бы все так - одно об другое!" Тогда все это кипело и поднимало. Теперь я вот эдак влачусь униженно в глазах этой девушки. Неужто не могу я уйти от нее? Неужто не может она полюбить меня? Ох! Нет! Она... она... быть не может, чтобы она в самом деле совсем оттолкнула меня! Не только совсем - хотя бы в половину! Хотя бы сколько-нибудь! Больше я этого не стерплю! Неужели правду сказал мне наемник на ухо приятель? Будто бы она по ночам тайком впускает к себе какого-то мужчину, а меня между тем постоянно перед вечером целомудренно выпроваживает из дому? Нет, это неправда, это постыдная ложь и клевета! Клерхен столько же невинна, сколько я несчастен. Она меня выбросила, она выгнала меня из своего сердца! И я осужден так жить дальше? Не стерплю, не стерплю этого! Вот-вот родину мою начнет бурно колебать внутренний раздор, а я, бессильный, умираю под шум этого смятения! Не стерплю, не вынесу этого! Когда дребезжит труба, гремит выстрел - дрожью пронизывает меня до мозга костей. Нет, это не бодрит меня, не стремится меня тоже ринуться вместе с другими в борьбу, рисковать собою! Злополучная, постыдная участь! Тем лучше. Один конец. На днях я бросился в воду, стал тонуть, а все-таки боязливая природа взяла верх: я почувствовал, что могу плыть, и спасся против волн. Эх, позабыть бы мне время, когда она любила меня - казалось, что любила! Зачем овладело мною всецело это счастье?

Зачем надежды эти пожрали во мне все сладостное желание жить и только издали каким-то раем манили меня? А первый тот поцелуй! Тот единственный! Здесь (*кладет руку на стол*), здесь были мы одни. Всегда была она добра и дружелюбна ко мне... тут стала нежной она... Она на меня взглянула - и все кругом пошло, и я почувствовал ее губы на своих губах. И... и теперь? Умри, несчастный! Что медлишь?! (*Достает из кармана пузырек.*) Не напрасно же украл я тебя у брата из его ящичка с целительными снадобьями, спасительный яд! Ты поглотить сразу эту тоску мою, эту дурноту, этот смертный пот - и освободишь меня.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ПЛОЩАДЬ В БРЮССЕЛЕ

Еттер и плотник идут вместе.

Плотник. Разве я этого не предсказывал? Уже восемь дней тому, как на сходке цеха я говорил, что тут крутая каша может завариться.

Еттер. А неужели правда, что они во Фландрии церкви разграбили?

Плотник. Полностью и церкви и часовни загубили. Одни голые стены оставили. Форменный сброд! И ведь это портит все наше хорошее дело. С самого начала ведь был уговор: в порядке и с твердостью заявить правительнице свои права. На том нам и следовало стоять. А теперь поговори-ка да соберись - ан выйдет, что мы с бунтовщиками заодно.

Еттер. Да, всякий сначала думает: "Что тебе свой нос вперед совать? Ведь от него близко и до шеи".

Плотник. Боюсь я, как шум-то пойдет по голытьбе да по черному народу; ему терять-то ведь нечего! Им это всего только предлог, на который и мы опереться можем, а стране от того прямая гибель.

Подходит Зуст.

Зуст. Здравствуйте, господа. Какие новости? Правда ли, будто иконоборцы устремляются прямо сюда?

Плотник. Здесь они ничего тронуть не посмеют.

Зуст. Заходил ко мне солдат купить табаку, я все у него выпросил. Правительница, хоть и остается достойной, мудрой женщиной, на этот раз потеряла голову. Должно быть, уж очень плохо дело, коли она без всякого стеснения прячется за своей охраной. В замке сильный гарнизон. Полагают даже, что она хочет бежать вон из города.

Плотник. Ей от нас не уйти! Присутствие ее защищает нас, и мы хотим доставить ей больше безопасности, чем ее подстриженные франты. И если она возьмет да закрепит за нами права наши да вольности, мы готовы ее на руках носить.

Подходит мыловар.

Мыловар. Плохо дело! Дрянь дело! Беспокойно будет и скверно кончится. Остерегайтесь, сидите смирно, а то и вас за бунтовщиков примут.

Зуст. Видно, к нам из Греции семеро мудрецов являются.

Мыловар. Знаю, знаю много таких, что тайком держат руку кальвинистов, хулят епископов, короля не боятся. Однако настоящий верноподданный, правильный католик...

К ним присоединяется и слушает все больше и больше народу.

Фанзен подходит.

Фанзен. Помогай бог вам, господа! Что нового?

Плотник. С этим не спутывайтесь. А он - сущий негодяй.

Егтер. Не писарь ли это, что служит у доктора Витса?

Плотник. Он уже многих хозяев переменял. Сперва был он писарем, а как один за другим его патроны прогоняли его, то он теперь, наполовину плутовским манером, изловчается в ремесле нотариуса и адвоката, пьянчужка!

Сходится еще больше народу, стоят группами.

Фанзен. Раз вы собрались, шушукайтесь в одной куче... Так всегда полезно потолковать.

Зуст. И я так полагаю.

Фанзен. Кабы теперь у того или другого было сердце, да у того или другого к тому же еще и голова, мы бы смогли одним разом сорвать с себя испанские оковы.

Зуст. Господин хороший! Вы бы так не выражались: мы королю присягали.

Фанзен. А король присягал нам? Не забудьте.

Еттер. Это стоит послушать! Выскажите свое суждение.

Несколько других. Этот, слышь-ка, дело понимает! Малый не промах!

Фанзен. Был у меня старик патрон, владелец пергаментов и грамот древнейших учреждений, всяких договоров и привилегий; у него же были редчайшие книги. В одном таком рукописании значилось все наше государственное устройство: как сперва нами, нидерландцами, правили особые свои князья, полностью по исконным правам, вольностям и обычаям; как предки наши воздавали князьям своим всяческое почтение, когда кто правил по положению, и как они немедля принимали предохранительные меры, чуть только тот хотел свернуть с прямого пути. Депутаты тут как тут уже стояли за ними, потому что у каждой провинции, какой она ни будь маленькой, были свои депутаты, свои земские чины.

Плотник. Полно молоть-то! Уж давно это известно! Всякому честному гражданину знакомо, сколько ему надобно, государственное устройство.

Еттер. Пусть говорит! Как-никак еще кое-что да узнаешь.

Зуст. Правильно!

Несколько голосов. Рассказывайте! Рассказывайте! Такое не каждый день слышишь.

Фанзен. Такие уж вы люди, мещане! Живете со дня на день и как приняли свое дело от родителей, так и предоставляете начальству проделывать с вами все, что ему заблагорассудится, не задумываетесь над происхождением существующего порядка, над историей, над правами правителя. А из-за такого нерадения и испанцы-то вам сеть на голову накинули.

Зуст. Кто об этом думает? Был бы кусок хлеба.

Еттер. Дьявольщина! Что ж давным-давно никто не выступил и ничего такого нам не сказал?

Фанзен. Вот я вам теперь говорю. Королю Испании выпала удача владеть одному нашими областями, но он не вправе в них расправляться иначе, чем это делали малые князья, которые в прежнее время владели ими в отдельности. Понимаете?

Еггер. Растолкуйте нам еще.

Фанзен. Ведь это ясно как день. Не обязаны ли вас судить по вашему местному праву? А такое к чему поведет?

Один из горожан. Правильно!

Фанзен. Что ж - у брюссельца разве не другое право, чем у антверпенца? У антверпенца, чем у гентца? А такое к чему же приведет?

Другой горожанин. Ей-богу, верно!

Фанзен. А коли вы допустите, чтобы этак шло дальше, скоро с вами и по-другому расправятся. Чего нельзя было Карлу Смелому, Фридриху воителю, Карлу Пятому, то проделывает Филипп через бабу.

Зуст. Да, да. Старые князья тоже это пробовали.

Фанзен. Конечно! Только предки наши знали, как с ними сладить. Как недовольны владетелем, захватят этак у него сына и наследника да и держат у себя, а выпустят только на самых выгодных условиях. Да, люди были отцы наши! Знали свою пользу! Умели кое-что соображать и налаживать! Правильный народ! Оттого-то наши права так точны, наши вольности так обеспечены.

Мыловар. Что толкуете вы о вольностях?

Толпа. О вольностях наших! О привилегиях наших! Еще рассказывайте о наших привилегиях!

Фанзен. Мы, брабантцы, хотя и у прочих областей есть свои преимущества, мы особенно широко обеспечены. Это я все вычитал.

Зуст. Скажите же!

Еггер. Не мешайте слушать!

Горожанин. Пожалуйста!

Фанзен. Во-первых, там писано: герцог Брабантский должен быть нам добрым и верным господином.

Зуст. Добрым? Так и написано?

Еггер. Верным? Подлинно ли так?

Фанзен. Так, как я вам говорю. Он обязался нам, как мы обязались ему. Второе - он не должен проявлять над нами никакого самовластия или произвола, ниже дать заметить, ниже заподозрить в каком бы ни было виде.

Еггер. Чудесно! Чудесно! Не проявлять.

Зуст. Ниже дать заметить.

Другой. Ниже заподозрить! Это - главная статья. Ниже кого-нибудь заподозрить в каком бы ни было виде.

Фанзен. Точными словами.

Еггер. Добудьте нам эту книгу!

Горожанин. Необходимо.

Другие. Книгу! Книгу!

Горожанин. Мы к правительнице пойдем с этой книгой.

Другой. Вы должны ей речь говорить, господин доктор.

Мыловар. Эх вы, простофили!

Другой. Еще что-нибудь из книги из этой!

Мыловар. Я ему зубы в глотку забью, ежели он еще слово скажет!

Толпа. Посмотрим, кто его тронет! Скажите нам что-нибудь о вольностях! Есть у нас еще какие вольности?

Фанзен. Немало, и очень ценных, очень благодетельных. Там еще написано: владетель области не должен ни улучшать, ни умножать духовное сословие без согласия дворянства и депутатов! Обратите на это внимание! И не изменять управления областью.

Зуст. Да так ли это?

Фанзен. Я готов вам показать, как это черным по белому написано лет двести-триста назад.

Горожанин. И мы терпим новых епископов? Дворянство должно нас защитить! Мы спор затеем.

Другие. Не дадим инквизиции гнуть нас в бараний рог!

Фанзен. Вы сами виноваты.

Толпа. Есть еще у нас Эгмонт! Есть принц Оранский! Они нашу выгоду блюдут!

Фанзен. Братья ваши во Фландрии благое дело начали.

Мыловар. Пес ты эдакий! (*Бьет его.*)

Другие (*сопротивляются и кричат*). Да что ты? Испанец, что ли?

Горожанин. Что? Благородного человека?

Другой. Ученого?

Бросаются на мыловара.

Плотник. Ради господа бога успокойтесь!

Другие вмешиваются в свалку.

Граждане, что же это такое?

Мальчишки свистят, науськивают собак, швыряют камнями. Горожане стоят и глазят. Сбегается народ. Одни равнодушно проходят взад и вперед; иные отпускают всякие веселые шутки, кричат и ликуют.

Другие. Свобода и вольности! Вольности и свобода!

Входит Эгмонт со свитой.

Эгмонт. Тихо! Тихо, граждане! Что здесь происходит? Спокойствие! Разойдитесь!

Плотник. Милостивый господин наш, вы как ангел небесный являетесь. Тишина! Не видите вы, что ли, граф Эгмонт? Привет графу Эгмонту!

Эгмонт. И здесь? Что у вас начинается? Гражданин на гражданина! Даже близость нашей царственной правительницы не останавливает этого безумия? Расходитесь, возвращайтесь к своим трудам. Плохой признак, если вы празднуете в будни. Что тут было?

Смятение постепенно затихает, все стоят вокруг него.

Плотник. Они дрались из-за своих вольностей.

Эгмонт. Которые так же легкомысленно разрушат. А кто вы такие? Мне кажется, вы люди добропорядочные.

Плотник. Стараемся быть такими.

ЭГМОНТ. Ваше ремесло?

ПЛОТНИК. Плотник и цеховой мастер.

ЭГМОНТ. А вы?

ЗУСТ. Мелочной торговец.

ЭГМОНТ. Вы?

ЕТТЕР. Портной.

ЭГМОНТ. Вспоминаю. Вы шили ливреи для моих людей. Вас зовут Еттер.

ЕТТЕР. Великая милость, что вы мое имя помните.

ЭГМОНТ. Я никого не забываю, с кем хоть раз виделся и говорил. Что до вас, граждане, то сохраняйте спокойствие - это все, что нужно. Вы на довольно плохом счету. Не сердите больше короля. Ведь в конце концов сила у него в руках. Порядочный гражданин, честным трудом зарабатывающий себе хлеб, везде находит столько свободы, сколько ему надобно.

ПЛОТНИК. Сушая правда! В том и нужда наша. Эти дармоеды, пьяницы, лентяи, с разрешения вашей милости, - они препираются от нечего делать, да роются с голоду в разных вольностях, да врут, сколько влезет, любопытным и легковверным, да ради того, чтобы сорвать на кружку пива, затевают свары, которые делают несчастными многие тысячи людей. Им только этого и нужно. Мы крепко бережем наши дома и сундуки, а то они бы рады головешками нас вон повыгнать.

ЭГМОНТ. Вы найдете всяческую поддержку! Принять меры, чтобы злу дать могучий отпор! Стойте твердо против чужого вероучения и не верьте, будто возмущением можно укрепить свои преимущества. И сидите по домам. Не допускайте себя и своих толпиться на улицах. Благоразумные люди много могут сделать.

Тем временем большая часть толпы разошлась.

ПЛОТНИК. Спасибо, ваше сиятельство, за хорошее мнение! Все сделаем, что в наших силах.

Эгмонт уходит.

Что за милостивый господин. Истый нидерландец! Вот уж ничего испанского!

ЕТТЕР. Вот бы его нам в правители! За ним идешь с охотой.

Зуст. Это-то король не допустит. На все места он своих сажает.

Еггер. А как он одет - разглядел? На новейший фасон, по испанской выкройке.

Плотник. Красивый господин!

Еггер. Да, шея его была бы хорошей поживой для палача!

Зуст. В своем ли ты уме? Что тебе в голову взбрело?

Еггер. Довольно глупо, что мысли такие находят! Так уж со мной бывает. Как увижу красивую да длинную шею, так сейчас против воли и подумаю: "А ловко ее рубить!" Проклятые эти казни! Не выходят они из головы. Когда мальчишки купаются и я вижу голую спину, сейчас же вспоминаю, как я видел их целые дюжины, когда их розгами пороли. Встретится пузатый человек - мне уже чудится, будто я вижу, как его поджаривают, посадивши на кол. Ночью во сне всего меня сводит. Ни часу спокойного нет. Всякое веселье, всякую шутку я скоро забываю. Страшные образы у меня словно во лбу выжжены.

ДОМ ЭГМОНТА

Секретарь (*за столом с бумагами; в беспокойстве встает*). Его все еще нет. А я жду уже два часа, с пером в руке, с бумагами перед собой. А я именно сегодня с такой охотой ушел бы вовремя. Ноги так сами и бегут. Едва сижу от нетерпения. И еще сказал мне, уходя: "Приходи же минута в минуту". А теперь не идет. Так много работы, раньше полуночи не справлюсь. Конечно, бывает, что и он кое на что глядит сквозь пальцы. А все-таки, по-моему, было бы лучше, когда бы он и был построже да отпускал бы в положенное время. Тогда бы можно было удобней располагать свои дела. От правительницы он уже два часа как вышел. Как знать, чем он отвлекся по пути.

Эгмонт входит.

Эгмонт. В каком положении дело?

Секретарь. Я готов, и три посланца ждут.

Эгмонт. Я довольно долго задержался. У тебя мрачный вид.

Секретарь. По вашему приказанию я жду уже давно. Вот бумаги.

Эгмонт. Донна Эльвира разгневается на меня, узнавши, что я задержал тебя.

Секретарь. Извольте шутить.

Эгмонт. Нет, нет! Не стыдись. В тебе виден хороший вкус. Она красива, и я вполне одобряю, что в замке есть у тебя приятельница. Что пишут?

Секретарь. Есть разное, и мало отрадного.

Эгмонт. Хорошо, что радость у нас дома и нам не надо ждать ее со стороны. Много получено?

Секретарь. Достаточно, и три посланца ждут.

Эгмонт. Начни с самого важного.

Секретарь. Здесь все - важное.

Эгмонт. Ну, по порядку. Только скорей!

Секретарь. Капитан Бреда посылает донесение о том, что было потом в Генте и окрестностях. Восстание в большей части улеглось.

Эгмонт. Он, конечно, пишет еще об единичных проявлениях наглости и сумасбродства?

Секретарь. Да. Еще кое-где прорывается.

Эгмонт. Уж избавь меня.

Секретарь. Взяты под стражу еще шестеро, которые возле Фервиха опрокинули изображение божией матери. Он просит распоряжения, вешать ли ему их, как прочих.

Эгмонт. Устал я от повешений. Пусть их высекут и отпустят.

Секретарь. В их числе две женщины. Должен ли он приказать и их высечь?

Эгмонт. Может сделать им словесное предостережение и отпустить на все четыре стороны.

Секретарь. Бринк из роты Бреды желает вступить в брак. Капитан высказывает надежду, что вы откажете ему в разрешении. "При отряде так много женщин, - пишет он, - что, когда мы выступим, будет вид не отряда на походе, а цыганского табора".

Эгмонт. Ну уж этому - куда ни шло! Молодой, красивый малый. Просил меня неотступно перед отъездом моим. А впредь больше не допускать, хоть и жалко мне: бедняки и без того замучились, а тут еще стану я запрещать лучшую их отраду!

Секретарь. Два человека вашей службы, Зетер и Гарт, совершили гнусное деяние над некой девицей, дочерью трактирщика. Они набросились на нее, когда кругом никого не было, и молодая девушка не была в силах от них оборониться.

Эгмонт. Если она девушка честная и те прибегли к насилию, пусть их в течение трех дней подряд секут розгами, и если у них есть какая-нибудь собственность, пускай с них взыщут столько, чтобы девушке было достаточно на приданое.

Секретарь. Один из чужестранных проповедников тайно пробирался через Комин и был обнаружен. Он клятвенно уверяет, что пробирался во Францию. Согласно приказу он должен быть обезглавлен.

Эгмонт. Следует без шума доставить его на границу и предупредить, что второй раз он так не уйдет.

Секретарь. Письмо от вашего управителя. Он пишет: приход мал, и на этой неделе он мог бы выслать положенную сумму с большим трудом; возмущение внесло во все дела величайшую путаницу.

Эгмонт. Деньги должны быть доставлены. Как их собрать - его дело.

Секретарь. Он обещает сделать все для него возможное и в конце концов предлагает подать жалобу на Раймонда, который так давно вам должен, и просить об его аресте.

Эгмонт. Да ведь он обещал заплатить.

Секретарь. В последний раз он сам определил срок в две недели.

Эгмонт. Ну, пускай ему дадут еще две недели - и уж тогда пусть принимает против него крутые меры.

Секретарь. Как вам угодно. Но тут не несостоятельность, а злонамеренность. Он, верно, возьмется за ум, когда увидит, что вы с ним не шутите. Дальше говорит управитель, что предполагает удержать двухнедельную получку со старых солдат, вдов и некоторых других, которым вы благоволите давать пенсии; пока что можно таким образом выйти из затруднения. Они бы как-нибудь устроили свои дела.

Эгмонт. То есть как это: устроили бы? Люди нуждаются в этих деньгах больше меня. Он должен это оставить по-прежнему.

Секретарь. Где же тогда прикажете ему достать эти деньги?

Эгмонт. Пускай сам над этим подумает, это ему уже сказано в последнем письме.

Секретарь. Потому он и сообщает эти свои предположения.

Эгмонт. Они не годятся. Он должен поразмыслить над какими-нибудь другими способами. Он должен делать предложения приемлемые, а главное, должен денег добыть.

Секретарь. Письмо графа Оливы я опять подложил к текущим делам. Простите, что вам о нем напоминаю. Старый вельможа не в пример прочим достоин подробного ответа. Вы желали сами писать к нему. Правда, он любит вас как отец.

Эгмонт. Все никак не соберусь. В числе многого ненавистного самое ненавистное для меня - писанье. Ты так хорошо воспроизводишь мой почерк. Напиши от моего имени. Я ожидаю принца Оранского. Никак не соберусь, а мне бы самому хотелось, чтобы на его мнительность ответить ему чем-нибудь истинно успокоительным.

Секретарь. Скажите мне хотя бы в общих чертах ваше суждение. А я уж изложу ответ и вам его представлю. Он так должен быть написан, чтобы даже любой суд признал его за ваш собственноручный.

Эгмонт. Подай мне письмо. (*Заглянув в него.*) Добрый, почтенный старик! Неужели ты и в юности своей был так же осмотрителен? Разве ты никогда не поднимался на крепостной вал? Или в сражении ты оставался там, где советует благоразумие, - позади? О заботливая преданность! Он хочет мне жизни и счастья, а не чувствует, что тот уже мертвец, кто живет ради своего безопасного благополучия. Напиши ему, что он может не тревожиться. Я действую, как должен; уж буду беречь себя. Свой вес при дворе пусть обращает он мне на пользу и пусть будет уверен в моей совершенной благодарности.

Секретарь. И дальше ничего? Ах, он ждет большего!

Эгмонт. Что же еще я могу сказать? Хочешь побольше слов - твоя рука владыка. Дело постоянно вертится вокруг одной точки: я должен жить так, как жить не могу. Я весел, легко смотрю на вещи, быстро живу - вот в чем мое счастье, и я не променяю его на безопасный склеп мертвеца. Ведь у меня в жилах для испанского способа жизни нет ни единой капли крови, и нисколько мне не весело приспособлять свои шаги к новому придворному кадансу. Затем ли я живу, чтобы только раздумывать над жизнью? Что же, я не должен

наслаждаться настоящим мгновением, чтобы быть уверенным в следующем? И снова его истощать заботами и хандрою?

Секретарь. Прошу вас, принц, не будьте столь суровы и жестоки к этому прекрасному человеку! Вы обычно так благожелательны ко всем. Скажите ему хоть одно приятное слово, которое бы успокоило благородного вашего друга. Смотрите, как он заботлив, как чутко он к вам подходит!

Эгмонт. И все-таки всегда подходит именно с этой стороны. Он знает издавна, как ненавистны мне увещания. Они только с толку сбивают без всякой пользы. Ну, если бы я был лунатик и с опасностью для жизни прогуливался по самой верхушке домовой крыши, дружеским ли делом было бы позвать меня по имени, предостеречь, разбудить и убить? Предоставьте всякому идти своим путем. Он сам сумеет себя охранить.

Секретарь. Вам свойственно не заботиться о себе, но кто знает вас и любит...

Эгмонт (*глядя в письмо*). Вот он снова принимается за старые сказки, которыми мы тешили друг друга как-то вечером в легком задоре хмельного кружка и которые потом со всякими выводами и доводами трепали и перетолковывали по всему королевству. Еще того лучше. Мы распорядились вышить на рукавах наших лакеев разные дурацкие колпаки да шутовские капюшоны, а после заменить все эти нелепые украшения пучком стрел; такой символ еще опаснее для всех тех, кто хотел бы находить тайный смысл там, где никакой тайны нет. В веселую минуту мы предприняли и проделали до конца всевозможные глупости; и по нашей вине целое дворянское сборище с нищенскими торбами и выдуманными прозвищами возвало к королю в насмешливо униженных выражениях о его долге. Наша вина - но что же из этого следует? Неужели масляничная шутка - государственная измена? Или завидны наши пестрые лохмотья, которыми юношеский задор и свежее воображение вздумают обвешать жалкую наготу нашей жизни? Что толку смотреть на жизнь чересчур сурово? Если утро не будит нас для новых радостей, а вечером не остается надежды еще на какое-нибудь веселье, тогда стоит ли одеваться и раздеваться? Для того ли сегодня мне светит солнце, чтоб я обсуждал, что было вчера? Чтобы загадывать и завязывать то, чего угадать и связать невозможно, - судьбу грядущего дня? Уволь меня от этих умозрений. Оставим их школьникам и придворным. Пускай думают и выдумывают, блуждают и пресмыкаются, добираются, куда могут, и добиваются, чего могут. Если ты можешь из всего этого чем-нибудь воспользоваться - так, чтобы письмо твое не выросло в книгу, - я очень доволен. Доброму старику все кажется слишком важным. Так

жмет сильнее еще раз нам руку друг, долго ее державший, перед тем как выпустить ее.

Секретарь. Извините меня. У пешехода кружится голова, когда он видит, как мимо вихрем проносится всадник.

Эгмонт. Дитя, дитя - и только! Словно гонимые незримыми духами, проносятся солнечные кони времени с легкой колесницей судьбы нашей, нам остается только, смело схватив, крепко держать вожжи и тут от камня, там от обрыва прочь направлять колеса. Куда летим - кто знает? И едва ли вспоминает, откуда!

Секретарь. Граф! Граф!

Эгмонт. Я высоко стою. Могу и должен подняться еще выше. Чувствую в себе надежду, мужество и силу. Еще я не достиг вершины своего возрастания. И стоя на ней в положенный срок, хочу стоять крепко, безбоязненно. А суждено мне пасть - так пусть удар грома, порыв вихря или собственный неверный шаг низвергнут меня в глубину, там пусть лежу со многими тысячами. Я никогда не избегал бросить кровавый жребий с добрыми боевыми товарищами ради малого выигрыша: не скряжничать же мне, когда дело идет о целом сокровище свободной жизни!

Секретарь. Граф! Даже вы сами не знаете, какие слова говорите! Подкрепи вас бог!

Эгмонт. Собери бумаги. Идет принц Оранский. Приготовь самое главное, чтобы посланцы могли отправиться, пока не запрут ворота. Остальное подождет. Письмо графу отложи до завтра. Не опоздай навестить Эльвиру. Передай ей мой привет. Осведомься, в каком состоянии правительница. Ей, по-видимому, нездоровится, хоть она и не показывает этого.

Секретарь уходит.

Входит принц Оранский.

Эгмонт. Здравствуйте, Оранский. Вы, кажется, не в духе?

Принц Оранский. Что вы скажете о нашей беседе с правительницей?

Эгмонт. Я не нашел в приеме, нам ею оказанном, ничего незаурядного. Мне случилось видеть ее такую не раз. Она, кажется, не совсем здорова.

Принц Оранский. Вы не заметили, что она держалась более замкнуто? Сперва она хотела спокойно одобрить наш образ действий в отношении нового народного возмущения; затем она заметила, что эти события рисуются в

каком-то ложном свете, и тут уж перевела разговор на свою привычную тему о том, что ее заботливое, доброе отношение, ее дружелюбие к нам, нидерландцам, никогда не было достаточно признано и слишком поверхностно толковалось, что никакие шаги не приводят к желанным для нее следствиям, что она даже устает, наконец, а король должен решиться на другие мероприятия. Ведь вы это слышали?

Эгмонт. Не все. Я тем временем размышлял о чем-то другом. Добрый Оранский, она - женщина, а им постоянно хочется, чтобы все покорно сгибалось под их сладостным ярмом, чтобы каждый Геркулес снимал львиную шкуру и увеличивал собою бабий двор повелительницы, чтобы в силу их миролюбия волнение, охватывающее народ, натиск мощных соперников друг на друга - все умиротворялось одним дружелюбным словом, и самые непримиримые стихии сливались бы у ног их в кротком согласии. Такова их природная склонность. И раз она не в силах достигнуть этого, ей нет другого пути, как сделаться капризной, жаловаться на неблагодарность, на неразумность и пугать грядущими ужасами да грозить, что она собирается уйти.

Принц Оранский. А вы не полагаете, что на этот раз она приведет угрозу в исполнение?

Эгмонт. Ни в коем случае! Сколько раз уже на моих глазах она готова была уехать. Да и куда же ей отправиться? Тут она регентша, королева. Ты думаешь, она согласится коротать жалкие дни при дворе своего брата или поехать в Италию и там барахтаться в старинных семейственных дразгах?

Принц Оранский. Ее считали неспособной на такую решимость, потому что здесь наблюдали, как она медлила, как она отменяла свои решения; а ведь как-никак все от нее зависит: новые обстоятельства понуждают ее к решению, которое так длительно затягивалось. Ну, а если бы она ушла? И если бы король прислал другого?

Эгмонт. Что ж, тот явился бы и, конечно, нашел бы чем заняться. Он бы явился с широкими планами, проектами и затеями, с намерением поставить все на правильный путь, подчинить своей власти и не выпускать из рук; и начал бы заниматься сегодня одной мелочью, завтра другой, а послезавтра встретил бы какое-нибудь препятствие и месяц истратил бы на новые планы, другой - на неудовольствия из-за неправильно проведенных мер, полгода - на заботы всего только об одной какой-нибудь области страны. И будет у него уходить время, кружиться голова, а дела идти, как прежде, своим порядком, так что он, вместо того чтобы переплывать далекие моря по задуманному направлению, будет

готов бога благодарить, только бы в этой буре не разбить своего корабля о скалы!

Принц Оранский. Ну, а если все-таки насоветуют королю сделать попытку?

Эгмонт. В каком роде?

Принц Оранский. Посмотреть, как бы обошлось туловище без головы.

Эгмонт. Каким образом?

Принц Оранский. Эгмонт, уже много лет мне гнетет сердце создавшееся вокруг нас положение вещей. Я стою все время как бы над шахматной доской и ни одного хода противника не считаю маловажным. И как досужие люди с величайшей старательностью доискиваются тайн природы, так я считаю первой заботой, обязанностью каждого князя - проникнуть в воззрения и намерения всех партий. У меня есть основания страшиться взрыва. Король долго и последовательно действовал на определенных основаниях; теперь он видит, что этим путем ни к чему не придет: не весьма ли вероятно, что он попытается достичь той же цели другим путем?

Эгмонт. Я этого не думаю. Когда человек состарился и так много испытал и ему ясно, что в мире никогда не достигнешь порядка, тогда в конце концов он доходит до точки.

Принц Оранский. Одного он еще не попробовал.

Эгмонт. Чего?

Принц Оранский. Беречь народ и преследовать князей.

Эгмонт. Как многие уже давно боялись этого! Тут нечего стараться.

Принц Оранский. Однако старались. Я все больше подозревал это и наконец уверился.

Эгмонт. А есть ли у короля слуги вернее нас?

Принц Оранский. Мы служим ему на свой лад и между нами можем признаться, что мы отлично умеем соразмерять права короля и свои.

Эгмонт. Да кто этого не делает? Мы ему подвластны и послушны, как подобает.

Принц Оранский. А если бы он счел себя вправе на большее и назвал бы нарушением верности то, что мы именуем соблюдением своих прав?

Эгмонт. Мы сможем отстоять себя. Пусть он созовет рыцарей Руна, и мы потребуем, чтобы нас рассудили.

Принц Оранский. А как быть в случае приговора до разбирательства? Или наказания до приговора?

Эгмонт. Это было бы беззаконие, до какого Филипп никогда не унижится, и безумие, на которое я не считаю способным ни его, ни его советников.

Принц Оранский. А ну как они окажутся беззаконниками и безумцами?

Эгмонт. Нет, Оранский, это немыслимо. Кто мог бы осмелиться наложить на нас руку? Наш арест был бы пропавшим и бесплодным делом. Нет, у них не хватит решимости вздернуть так высоко стяг тирании! Дуновение ветра, которое разнесло бы такое известие по стране, раздуло бы вместе с тем чудовищное пламя. И какого бы исхода они хотели? Судить и приговорить своей властью король не может, а решились ли бы они предательски посягнуть на нашу жизнь? Они не могут этого захотеть. Грозный союз объединил бы тогда народ в одно мгновение. И бурно бы проявилась тогда ненависть и вечное отвращение к самому имени Испании!

Принц Оранский. Пламя бушевало бы тогда над нашими могилами, и кровь друзей наших лилась бы напрасной искупительной жертвой. Оставь меня думать по-моему, Эгмонт!

Эгмонт. Но как же они будут действовать?

Принц Оранский. Альба на пути к нам.

Эгмонт. Не может быть!

Принц Оранский. Это мне известно.

Эгмонт. Правительница, очевидно, ничего не знала.

Принц Оранский. Тем более я в этом уверен. Правительница ему уступит место. Мне известна его кровожадность, а он ведет с собою войско.

Эгмонт. Снова придавить провинции гнетом? Народу будет невыносимо тяжело.

Принц Оранский. Начнут захватывать стоящих во главе!

Эгмонт. Нет! Нет!

Принц Оранский. Идем, каждый в свою область! Укрепимся там. С открытого насилия он не начнет.

Эгмонт. Но обязаны ли мы его приветствовать, когда он явится?

Принц Оранский. Помедлим.

Эгмонт. А если он при своем приезде именем короля нас потребует?

Принц Оранский. Поищем отговорок.

Эгмонт. А если будет принуждать?

Принц Оранский. Начнем приводить оправдания.

Эгмонт. А если будет настаивать?

Принц Оранский. Тем решительнее будем уклоняться.

Эгмонт. И война объявлена, и мы изменники! Оранский, не давай мудрствованию соблазнить тебя! Знаю, ты не можешь падаться страху. Обдумай этот шаг.

Принц Оранский. Я обдумал.

Эгмонт. Обдумай, какую вину берешь ты на себя, если заблуждаешься! Вину губительнейшей войны, какая только опустошила когда-либо какую бы то ни было страну. Отказом своим ты подашь сигнал, который сразу призывает к оружию все провинции, который оправдывает всякую бесчеловечность, а для нее Испания искони жадно выискивала только предлога. То самое, что мы так долго, с таким трудом умиротворяли, единым мановением вновь возбудишь ты к ужаснейшему смятению. Подумай о городах, о дворцах, о народе, о торговле, о земледелии, промыслах! И представь себе опустошение и убийство! Спокойно может видеть солдат на поле битвы, как возле него падают его товарищи; но мимо тебя вниз по реке будут проплывать тела простых обывателей, детей, девушек, а ты, ошеломленный, тут стоишь и сам уже не знаешь: чью свободу защищаешь ты, если тонут те, за кого ты поднял оружие? И каково все это будет тебе, когда ты вынужден будешь безмолвно себе признаться: "Ими я воспользовался, чтобы сохранить свою безопасность".

Принц Оранский. Мы не просто люди, сами по себе, Эгмонт. Нам подобает жертвовать собой для тысяч людей, но нам же подобает и щадить себя ради тысяч.

Эгмонт. Кто щадит себя, должен сделаться самому себе подозрителен.

Принц Оранский. Кто себя знает, тот без опасений может наступать и подаваться назад.

Эгмонт. Беда, которой ты боишься, неизбежна при таком образе действия.

Принц Оранский. Мудро и мужественно неизбежной беде идти прямо навстречу.

Эгмонт. При такой великой опасности учитывается и самая слабая надежда.

Принц Оранский. У нас больше нет места и для осторожнейшего шага: пропасть прямо перед нами.

Эгмонт. Разве милость короля уж такая зыбкая почва?

Принц Оранский. Не такая уж зыбкая, но скользкая.

Эгмонт. Боже мой, к нему несправедливо относятся! Для меня невыносимо, что о нем думают недостойное! Он сын Карла и не способен ни на что низкое.

Принц Оранский. Короли не делают ничего низкого.

Эгмонт. Его надо научиться понимать.

Принц Оранский. Как раз это понимание учит нас не дожидаться опасного опыта.

Эгмонт. Никакой опыт не опасен, если на него хватит отваги.

Принц Оранский. Ты раздражен, Эгмонт.

Эгмонт. Я должен смотреть своими глазами.

Принц Оранский. Ах, если бы только на этот раз ты смотрел моими! Друг, если твои открыты, так ты думаешь, что видишь. Я отправляюсь! Ожидай прибытия Альбы, и да будет бог с тобою! Может быть, отказ мой спасет тебя. Может быть, этот дракон откажется от добычи, если не сможет проглотить нас обоих сразу. Авось он помешкает, чтобы свой умысел надежнее выполнить, а ты тем временем авось разглядишь положение вещей в его подлинном виде. Только уж тогда скорей, скорей! Спасайся, спасайся! Прости! Не допусти, чтобы хоть что-нибудь ускользнуло от твоего внимания: сколько войск он с собой приведет, какими способами займет он город, в какой мере власть удержится за правительницей, насколько решительны окажутся друзья твои. Извести меня...
Эгмонт.

Эгмонт. В чем дело?

Принц Оранский (*схватывая его за руки*). Дай убедить тебя! Иди со мной!

Эгмонт. Как? Ты плачешь, Оранский?

Принц Оранский. И мужчине не стыдно оплакивать погибшего.

Эгмонт. Ты воображаешь, будто я погиб?

Принц Оранский. Ты погиб? Подумай! Тебе остается кратчайший срок. Прости! (*Уходит.*)

Эгмонт (*один*). Чтобы мысли другого человека - и могли так влиять на нас! Мне никогда этого в голову не приходило. А этот человек переносит в меня всю свою тревогу. Прочь! Это чужая капля в крови моей. Извергни ее, здоровая природа! А смыть со лба моего морщины раздумья - на это есть у меня благое средство.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ДВОРЕЦ ПРАВИТЕЛЬНИЦЫ

Маргарита Пармская. Это мне следовало ожидать. Ах, когда жизнь проводишь в заботе и работе и только их видишь впереди, думаешь постоянно, что делаешь едва ли не больше возможного; а кто наблюдает издали и повелевает, тот полагает, будто только возможного требует. О, эти короли! Я бы никак не подумала, что это может так меня расстроить. Повелевать так прекрасно! А отречься? Не знаю, как смог это сделать отец, но я тоже хочу.

Макьявель появляется в глубине.

Правительница. Подойдите ближе, Макьявель. Я здесь раздумываю над письмом брата.

Макьявель. Смею ли осведомиться, о чем оно?

Правительница. Столько же нежной заботливости обо мне, сколько попечительности о своих владениях. Он превозносит стойкость, старание и верность, с какими я в этой стране до сих пор стояла на страже прав его величества. Он сожалеет, что необузданный народ так много доставляет мне тревоги. Он в глубине моей прозорливости так безусловно уверен, мудростью моего образа действий так исключительно удовлетворен, что, кажется, я готова сказать: письмо написано слишком хорошо, - даже для короля, не только для брата.

Макьявель. Уже не впервые он свидетельствует вам справедливое свое удовольствие.

Правительница. Но впервые является в ораторском обличий.

Макьявель. Я не понимаю вас.

Правительница. Но поймете. После этого приступа он переходит к мысли: без солдат, без небольшой армии я всегда буду здесь изображать печальную фигуру! Мы неправильно поступили, говорит он, когда склонились на жалобы жителей и вывели свои войска из провинций. Он полагает, что гарнизон, отягчая горожанину затылок, своим весом мешает ему делать большие скачки.

Макьявель. Это значило бы привести умы в крайнее раздражение.

Правительница. Король полагает, однако, - ты слышишь? - он полагает, что дельный генерал - этаким, чтоб не принимал никаких резонов, очень скоро сумел бы управиться с народом и дворянством, с горожанами и мужиками, и в силу этого шлет сюда с крепким войском герцога Альбу.

Макьявель. Альбу?

Правительница. Ты изумляешься?

Макьявель. Вы говорите - шлет. Верно, запрашивает, не может ли послать?

Правительница. Король не запрашивает, он шлет.

Макьявель. Итак, вы будете иметь к вашим услугам искусного военачальника.

Правительница. К моим услугам? Высказывайся с полной откровенностью, Макьявель!

Макьявель. Я не хотел бы упреждать вас.

Правительница. А я хотела бы притвориться. Мне это больно, очень больно. Я бы предпочла, чтобы лучше брат сказал мне все, как думает, чем подписывать формальные послания, сочиняемые статс-секретарем.

Макьявель. Не должно ли было предвидеть?

Правительница. Я знаю их вдоль и поперек. Им бы очень хотелось, чтобы все это оказалось вычищено и выметено; а сами они за дело не принимаются, - вот и облекается их доверием первый попавшийся молодец, какой явится с метлой в руке. Ах, я живо представляю их себе, словно король и его совет вытканы на этих шпалерах.

Макьявель. Настолько ярко?

Правительница. До малейшей черточки. В их числе есть порядочные люди. Честный Родриг - человек бывалый и знающий меру, который на залетает высоко, но все-таки ничего не упустит; прямодушный Алонсо, усердный Френеда, твердый Лас Варгас и еще несколько человек, которые всякий раз идут заодно с благонамеренной стороной совета, когда она восторжествует. Однако там же сидит меднолобый толедец, со своими ввалившимися глазами и горящим взором, да ворчит сквозь зубы о женской снисходительности, о несвоевременной сговорчивости да о том, что на обьезженных лошадях женщины могут хорошо ездить, а сами они плохие наездницы - и другие подобные шутки, которые мне, бывало, приходилось выслушивать от почтенных политиков.

Макьявель. Вы сумели выбрать чудесную палитру красок для своей картины.

Правительница. Однако признайтесь, Макьявель, что во всех оттенках, - по крайней мере, тех, какими я могла пользоваться в своей живописи, - нет другого такого желто-бурого, желчно-черного тона, как в окраске лица Альбы и как та краска, которой он малюет. Всякий в его глазах богохульник и оскорбитель величества, потому что по этой статье можно их всех немедленно колесовать, сажать на кол, четвертовать и сжигать. То благо, какое я здесь совершала, издали, очевидно, представляется прямо ничем, уже из-за того одного, что это - благо. И вот он придирается ко всякой пустой вспышке, уже миновавшей, вспоминает всякое возбуждение, уже утихшее, и перед взорами короля оказывается такая бездна мятежей, восстаний, безумств, что ему представляется, будто здесь поедают друг друга, а между тем мимолетная выходка грубой толпы у нас давным-давно забыта. Тут начинает он питать искреннюю ненависть к бедным этим людям; они кажутся отвратительными, как звери, как чудовища, и вот он уже поглядывает, как бы пустить в ход огонь и меч, и воображает, что таким способом возможно обуздывать людей.

Макьявель. Вы слишком горячитесь, думается мне, вы слишком переоцениваете положение дела. Разве вы не остаетесь правительницей?

Правительница. Я уже знаю. Он явится с инструкцией - у меня достаточно долгий государственный опыт, чтобы знать, как человека вытесняют, не отнимая у него его положения. Прежде всего он привезет наказ, который будет неясен и уклончив; он будет его толковать распространительно, потому что сила за ним. А если я буду жаловаться, он сошлется на тайный наказ: если я захочу видеть этот наказ, он начнет водить меня вокруг да около; если я буду

настаивать, он покажет мне бумагу, в которой содержится что-нибудь совершенно иное; а если я на этом не успокоюсь, будет отвечать не иначе как на прежние мои слова. Тем временем он станет делать то, чего я опасаюсь, и далеко откладывать в сторону то, чего я желаю.

Макьявель. Я хотел бы, я мог бы вам возразить.

Правительница. Возбуждение, которое я старалась успокоить с невыразимым терпением, он снова раззадорит своей жестокостью. Я увижу, как на моих же глазах гибнет мое дело, и мне же еще придется расплачиваться за его грех.

Макьявель. Повремените, ваше высочество.

Правительница. У меня еще достаточно власти над собой, чтобы оставаться спокойной. Пусть он является. Я самым мирным образом уступлю ему место, раньше чем он меня вытеснит.

Макьявель. Так поспешно - и такой ответственный шаг?

Правительница. С большим трудом, чем тебе кажется. Кто привык повелевать, для кого стало обычным, что в его руке лежат каждый день судьбы тысяч, тот сходит с трона словно в гроб. Но лучше умереть, чем подобием призрака оставаться среди живых, чем из пустой видимости стараться удерживать за собой место, которое от тебя же унаследовал другой и уже владеет им и пользуется.

ЖИЛИЩЕ КЛЕРХЕН

Клерхен. Мать.

Мать. Этакой любви, как у Бракенбурга, я никогда не видывала; мне думалось, что разве только в сказаниях о героях такая бывает.

Клерхен (*ходит по комнате взад и вперед, еле слышно напевая*).

Счастье душа

Познает лишь любя.

Мать. Он догадывается об отношениях твоих с Эгмонтом. А думается мне, что, кабы стала ты с ним немножко поласковой, он бы, если б ты захотела, все-таки женился бы на тебе.

Клерхен (*поет*).

Вольно,

И больно,
И скорбь хороша.
Биться,
Томиться,
Страданием дыша.
Звездно ликуя,
Смертельно скорбя,
Счастье душа
Познает лишь любя.

Мать. Брось свою колыбельную песню!

Клерхен. Не хулите ее: в ней скрыта сила. Не раз убаюкивала я ею одно большое дитя.

Мать. Видно, у тебя и в мыслях ничего нет помимо любви твоей. Ради нее одной как бы только не позабыть тебе обо всем на свете! Ведь ты должна, говорю тебе, дорожить Бракенбургом. Он еще, глядишь, тебя счастливой может сделать.

Клерхен. Он?

Мать. Да, он! Придет еще время! Вы, дети, совсем вперед не глядите, нас, опытных людей, и слушать не хотите. И юности и любви прекрасной - всему конец приходит, и настает пора, когда бога благодарить приходится, ежели хоть какой-нибудь угол тебе достанется.

Клерхен (*вздрагивает, смолкает и вскрикивает*). Матушка! Оставьте! Пусть время придет, как смерть придет. Страшно думать о нем наперед. А когда придет! Если мы должны... тогда... придется... как можем! Эгмонт, мне тебя лишиться! (*В слезах.*) Нет, невозможно, невозможно!

Входит Эгмонт в кавалерийском плаще, в шляпе, надвинутой на лицо.

Эгмонт. Клерхен!

Клерхен (*испускает крик, отступает*). Эгмонт! (*Подбегает к нему.*) Эгмонт! (*Обнимает его и припадает к нему.*) Ты добрый, милый, любимый мой! Пришел? Здесь?

Эгмонт. Здравствуйте, матушка!

Мать. Дай бог вам здоровья, благородный господин! Дочка моя прямо тоской изошла, что так долго не бывали. День целый о вас только и говорила и песни пела.

Эгмонт. А поужинать мне не дадите ли?

Мать. За честь почтем. Только бы нашлось чем потчевать!

Клерхен. Конечно! Не беспокойтесь, матушка: я уже все устроила, кое-чего припасла. Не выдавайте меня, матушка!

Мать. Плоховато.

Клерхен. Уж подождите! Я вот что думаю: когда он со мной, мне нисколько есть не хочется, так, верно, и у него не должно быть большого аппетита, когда я возле него.

Эгмонт. Ты так думаешь?

Клерхен топает ногой и с негодованием отворачивается.

Что ты?

Клерхен. Как вы нынче холодны! Еще ни разу меня не поцеловали. Зачем руки в плащ запеленали, как новорожденного младенца? Ни воину, ни возлюбленному не годится, чтобы руки были спеленаты.

Эгмонт. Как когда, милая, как когда? Если воин подстерегает врага и хочет как-нибудь взять его хитростью, тогда он собирается с силами, берет сам себя в руки и подготавливает свой натиск до конца. А возлюбленный...

Мать. Не желаете ли присесть? Расположиться поудобнее? Мне нужно в кухню. Клерхен ни о чем не думает, когда вы здесь. Уж вы не взыщите.

Эгмонт. Радущие ваше - лучшая приправа.

Мать уходит.

Клерхен. А чем же тогда окажется любовь моя?

Эгмонт. Чем только захочешь!

Клерхен. Найдите ей сравнение, если в вас сердце есть.

Эгмонт. Вот, прежде всего... (*Сбрасывает плащ и оказывается в роскошной одежде.*)

Клерхен. Ай-ай-ай!

Эгмонт. Теперь у меня руки развязаны. (*Обнимает ее.*)

Клерхен. Оставьте! Вы на себе что-нибудь испортите. (*Отступает.*) Какая роскошь! До вас, такого, я прямо не осмеливаюсь дотронуться.

Эгмонт. Довольна? Я тебе обещал как-нибудь явиться в испанском наряде.

Клерхен. Последнее время я уже этого у вас не просила. Думала, вы не хотите. Ах, и Золотое Руно!

Эгмонт. Вот ты и видишь его.

Клерхен. Тебе император его на шею надел?

Эгмонт. Да, дитя. И цепь и самый знак наделяют того, кто их носит, благороднейшими преимуществами. На земле я не признаю над своими деяниями никакого судьи, помимо гроссмейстера ордена с собранием капитула его рыцарей.

Клерхен. О, ты мог бы позволить всему свету судить тебя! Бархат что за красота! А позумент! А шитье! Не знаешь, на что смотреть.

Эгмонт. Можешь досыта насмотреться.

Клерхен. И Золотое Руно! Вы рассказывали мне его историю и говорили, что это - знак всего великого и неоцененного, что можно заслужить и снискать усилиями и старанием. Это - великая ценность. Я могу сравнить ее с любовью твоей. Как раз так я у сердца ношу ее, а после...

Эгмонт. Что хочешь ты сказать?

Клерхен. После - вовсе не похоже.

Эгмонт. Как так?

Клерхен. Я снискала ее не трудом и стараниями, я ничем не заслужила ее.

Эгмонт. В любви бывает иначе. Потому ты и заслужила ее, что никак не искала. И вообще только те люди обыкновенно и приобретают ее, которые за ней не гонятся.

Клерхен. Не по себе ли ты так об этом судишь? Не на себе ли сделал ты это гордое наблюдение? Ты, всем народом любимый?

Эгмонт. Когда бы я для него хоть что-нибудь сделал! Когда бы мог делать! Его добрая воля - любить меня.

Клерхен. Ты сегодня, вероятно, был у правительницы?

Эгмонт. Да, у нее.

Клерхен. Вы с ней хороши!

Эгмонт. Иногда кажется, что так. Мы друг с другом любезны и предупредительны.

Клерхен. А по душе?

Эгмонт. Я к ней очень хорошо отношусь. У каждого свои цели. Это делу не вредит. Она превосходная женщина, знает своих слуг и могла бы видеть вещи достаточно глубоко, не будь она в то же время недоверчива. Я доставляю ей немало беспокойства, потому что за моими действиями она ищет постоянно каких-то тайн, а никаких тайн у меня нет.

Клерхен. Совсем никаких?

Эгмонт. Ну вот! Нельзя же кое-чего и не утаивать. Всякое вино с течением времени осаждаёт на дно бочек винный камень. А все-таки еще лучшее для нее развлечение - принц Оранский, и всегда новая задача. Она вбила себе в голову, что в нем постоянно имеется что-нибудь таинственное. И вот она то и дело по лбу его разгадывает его мысли, а по походке - направление его пути!

Клерхен. А она притворяется?

Эгмонт. Правительница... и ты спрашиваешь?

Клерхен. Простите, я хотела сказать: есть ли в ней искренность?

Эгмонт. Не больше и не меньше, чем в каждом, кто хочет достигнуть своих целей.

Клерхен. Мне бы не найти своего места на свете. А ведь в ней мужской дух, она не такая женщина, как мы, швеи да стряпухи. Великая, отважная, сильная!

Эгмонт. Да, пока все вверх дном не идет. А на этот раз она немножко растерялась.

Клерхен. Как так?

Эгмонт. А у нее ведь усики над верхней губой и иногда припадки подагры. Настоящая амазонка!

Клерхен. Величественная женщина! Я бы боялась явиться перед ней.

Эгмонт. А ведь ты неробкого десятка. Это был бы не страх, а только девическое смущение.

Клерхен опускает глаза, берет его руку и прислоняется к нему.

Я понимаю тебя, милая девушка! Смело подыми глаза. *(Целует ей глаза.)*

Клерхен. Дай помолчать! Дай мне так держать тебя! Дай мне смотреть в глаза твои! Все в них находить: отраду и надежду, радость и печаль. *(Обнимает его и смотрит на него.)* Скажи мне! Я не понимаю! Ты Эгмонт? Граф Эгмонт? Великий Эгмонт, которому так удивляются, о котором в газетах пишут? За которого горой стоят провинции?

Эгмонт. Нет, Клерхен, это не я.

Клерхен. Как?

Эгмонт. Видишь ли, Клерхен... Дай мне сесть. *(Садится. Она становится перед ним на колени на скамеечку, кладет руки на его колени и смотрит на него.)* Тот Эгмонт - угрюмый, жестокий, холодный, Эгмонт, который должен замыкаться в себе, то так, то этак менять свое лицо, который истерзан, непризнан, запутан, в то время как люди считают его веселым и радостным; любим народом, который не знает, чего хочет; почитаем до небес, превознесен толпой, с которой нечего делать; окружен друзьями, на которых не смеет положиться; подстерегаем людьми, которые всеми способами стараются стать ему поперек дороги в работе и заботе, часто без пользы, почти всегда без награды. О, не заставляй меня рассказывать, как ему живется, каково у него на душе! А этот, Клерхен, - спокойный, открытый, счастливый и понятый самым лучшим сердцем, которое и он знает до конца и с переполняющей душу любовью и верой прижимает к своему. *(Обнимает ее.)* Это твой Эгмонт!

Клерхен. Так дай мне умереть! Для меня нет радости на свете помимо тебя!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

УЛИЦА

Еттер. Плотник.

Еттер. Эй! Тс... Эй, сосед, одно слово хочу сказать!

Плотник. Иди, куда идешь, и не волнуйся.

Еттер. Одно словечко! Ничего нового?

Плотник. Ничего, кроме того, что нам опять запрещено разговаривать.

Еттер. Как?

Плотник. Подойдите хоть сюда, к дому. Остерегайтесь! Герцог Альба, сейчас же как прибыл, издал приказ, по которому, ежели двое или трое разговаривают вместе на улице, они без всякого следствия объявляются виновными в государственной измене.

Еттер. Ох-ох-ох!

Плотник. Под страхом бессрочного заключения запрещено разговаривать о государственных делах.

Еттер. О наша свобода!

Плотник. И под страхом смертной казни никто не смеет порицать действия правительства.

Еттер. О головы наши!

Плотник. И с большими посулами отцам, матерям, детям, родственникам, друзьям, слугам будет предложено доносить особо для того учрежденному присутственному месту о том, что делается у них в доме.

Еттер. Пойдемте по домам.

Плотник. А послушным обещано, что они не потерпят никакого ущерба ни жизни своей, ни вере, ни собственности.

Еттер. То-то милостиво! На меня сейчас же тоска напала, как только герцог въехал в город. С той поры мне все сдается, будто небо черной кисеей затянуто и так низко нависло, что приходится нагибаться, чтоб его не задеть.

Плотник. А солдаты его как тебе понравились? Не правда ли, это совсем не той породы раки, чем привычные прежде нам?

Еттер. Тьфу! Даже сердце щемит, как увидишь, что этакий отряд по улице идет. Один к одному, ровно свечи, все на одно лицо, и шаг одинаковый, сколько их ни будь. А когда на часах они стоят, и ты которого-нибудь мимо проходишь, так он

словно всего тебя насквозь глазами пронзить хочет, да такой с виду окостенелый, мрачный, что тебе на всяком углу чудится палач. Так-то не по душе мне они! Наша милиция была все-таки народ веселый, они кое-что себе позволяли, стояли себе, расставив ноги, заломив шапку набекрень, жили и другим жить давали, а эти молодцы - что твои машины, - в каждой по черту сидит.

Плотник. А коли такой-то да закричит: "Стой!", да приложится, как думаешь, остановится человек?

Еггер. Я бы в ту же минуту помер.

Плотник. Пойдем же домой.

Еггер. Мало хорошего впереди. Прощай!

Зуст подходит.

Зуст. Друзья! Товарищи!

Плотник. Тише! Пусти нас.

Зуст. А вы знаете?

Еггер. Чересчур много знаем.

Зуст. Правительница уехала.

Еггер. С нами крестная сила!

Плотник. Ей мы еще держались.

Зуст. Так вдруг неслышно и уехала. Не смогла с герцогом ужиться; велела оповестить дворянство, что воротится обратно. Да никто не верит.

Плотник. А дворянство - бог ему судья - допустило-таки надеть нам эту новую петлю на шею. Они бы могли это отвратить. Провалились наши привилегии!

Еггер. Ради господ бога и не заикайтесь о привилегиях! Я чутьем чую казни поутру; солнце не хочет выглянуть, смрадом туман налитан.

Зуст. И принц Оранский уехал.

Плотник. Выходит, мы уж совсем брошены.

Зуст. Граф Эгмонт здесь еще.

Еттер. Слава богу! Да укрепят его все святые на благое дело! Только он может как-нибудь помочь.

Фанзен входит.

Фанзен. Вижу ли наконец горсточку, что в щель не забились?

Еттер. Окажите нам одолжение, ступайте дальше!

Фанзен. Вы не очень любезны.

Еттер. Не такое время, чтобы любезничать. У вас опять спина чешется? Или вы поправиться успели?

Фанзен. Что ж война спрашивать о ранах? Кабы я считался с каждым пинком, из меня бы в свое время ничего не вышло.

Еттер. Это может повернуться серьезнее.

Фанзен. Вы чувствуете, что гроза готова разразиться, и, кажется, уже со страху у вас руки и ноги ослабели.

Плотник. Вот тебе-то придется кое-где в другом месте поразмяться, ежели ты не уймешься.

Фанзен. Мыши злосчастные! Хозяин завел новую кошку, сейчас у них и ушла душа в пятки! Правда, чуть-чуть по-другому. Но мы поведем свою линию дальше, как до сих пор, - уж вы будьте покойны.

Плотник. Ты наглый негодяй.

Фанзен. Экий ты простофиля! Ты только не мешай герцогу. Так глядит старый кот, словно вместо мыши черта сожрал, и сил теперь нет его переварить. И пускай его! Нужно ведь и ему есть, пить, спать, как прочим людям. Я его не боюсь, только бы мы зря не торопились. Это он сгоряча так берется; спустя время он тоже увидит, что куда лучше жить в столовой, возле доброго куска ветчины, а ночью спокойно спать, чем в овине изощряться ради жалкой мышки. Только не мешайте! Знаю я наместников.

Плотник. И сходит же с рук человеку. Кабы я в жизни своей что такое сказал, минутки бы себя в безопасности не чувствовал.

Фанзен. Будьте покойны. О вас, червяках, и бог на небе не ведает, так что же толковать о правителе.

Еттер. Богомерзкая морда!

Фанзен. Знаю я иных, которым куда бы лучше было, кабы наместо геройства была у них в теле портняжная жилка.

Плотник. Что вы этим хотите сказать?

Фанзен. Хм! О графе я мыслю.

Еттер. Эгмонт! Уж ему-то чего бояться?

Фанзен. Я гол как сокол и мог бы целый год прожить на то, что он спускает в один вечер. И все-таки он мог бы мне отдать целиком годовой свой доход за то, чтобы получить хоть на четверть часа мою голову.

Еттер. Правильно ты о себе понимаешь. Да у Эгмонта в каждом волоске больше ума, чем у тебя в мозгах!

Фанзен. Рассказывайте! Только уж никак не тоньше. Господа первым делом дают себя обманывать. Он не должен был доверяться.

Еттер. Что он городит? Какой такой господин?

Фанзен. Да ведь не портной же.

Еттер. Немытое рыло!

Фанзен. Желал бы я ему в тело вашего куража хоть на часок, чтобы он его разобрал и до тех бы пор задира и зудил, пока бы он из города выбраться захотел.

Еттер. Неразумное вы болтаете. Он надежнее, чем звезда в небе.

Фанзен. А падучей звезды не видал? Сорвется - и конец.

Плотник. Кто же на него что-нибудь замышляет?

Фанзен. Кто замышляет? А ты помешать, что ли, хочешь? Что же, ты восстание подымешь, ежели они его заберут да засадят?

Еттер. Ах!

Фанзен. Что же, вы ребрами своими за него рискнете?

Зуст. Эх!

Фанзен (*передразнивая их*). Ах! Эх! Ох! Ну, изумляйтесь по всей азбуке. Так дело стоит, так и стоять будет. Спаси его, господи!

Еттер. Ужасаюсь я бесстыдству вашему. Ну чего бояться такому благородному, прямодушному человеку?

Фанзен. Плут везде в барыше. Он на скамье подсудимых - судья перед ним в дураках; в судейском кресле он весело играет роль инквизитора перед преступником. У меня была копия такого протокола, где комиссар от двора кучу денег и похвал получил за то, что он одного честного малого, как того хотели, произвел в плуты.

Плотник. И это вранье сейчас только выдуманно. Чего же можно допытаться, коли человек не виноват?

Фанзен. О куриные мозги! Когда наружу нечего выпытать, тогда в нутро выпытывают. Честность делает человека безрассудным и даже упрямым. Тут сперва у него спокойно выпрашивают самые простые вещи, и арестованный гордо стоит на своей невинности, как они это называют, и высказывает начистоту все, что понимающий человек постарался бы скрыть. Тогда инквизитор выводит из ответов снова вопросы и следит, не собирается ли где проскользнуть хоть малюсенькое противоречьице; тут он привязывает свою веревку и начинает смущать дурачка тем, что тут вот он кое-что пересказал, там кое-что не досказал, а то даже бог весть из какой прихоти умолчал об одном обстоятельстве, или где-нибудь под конец испугался - тут уж мы на верном пути! И я вас уверяю: не так старательно тряпичники перерывают мусор в помойках, как подобный фабрикант мошенников из ничтожных, лживых, сбивчивых, притянутых, вытянутых, выведенных, выдуманных, признанных указаний и обстоятельств ухищряется смастерить себе в конце концов этакое огородное пугало, чтобы получить возможность по меньшей мере *in effigie* повесить своего подсудимого. И пусть бедняга еще бога благодарит, ежели сам сможет видеть, как его вешать будут.

Еттер. Ну и боек же на язык!

Плотник. Это разве только на мух. Оса и та посмеется этакой паутине.

Фанзен. Смотри какой паук! А длинный-то герцог ни дать ни взять крестовик: не какой-нибудь толстопузый - те не так хитры, - а этакий долгоногий, поджарый, что от жратвы не жиреет и паутинки тонюсенькие тянет и что тоньше, то липче.

Еттер. Эгмонт - рыцарь Золотого Руна: кто смеет руку на него наложить? Одними себе равными он может быть судим, одним только собранием ордена. Глотка твоя беспутная да злая совесть доводят тебя до этакого пустословия.

Фанзен. Что ж я, зло, что ли, на него накликаю? Мне он пригодиться может: господин отменный! Несколько приятелей моих, которых где-нибудь в другом месте уж обязательно бы повесили, он отпустил, только в спину им как следует всыпавши. Ну, ступайте, ступайте! Сам вам это советую. Вон, я вижу, там опять патруль подходит. Что-то не такой у них вид, чтобы скоро довелось нам на "ты" с ними выпить. Что же, подождем, только вид примем посмирнее. Есть у меня две племянницы да кум-кабатчик. Ежели с ними сойдутся да не станут они ручными, так уж они действительно сущие волки.

КУЛЕНБУРГСКИЙ ДВОРЕЦ. РЕЗИДЕНЦИЯ ГЕРЦОГА АЛЬБЫ

Сильва и Гомец встречаются.

Сильва. Исполнил ты повеления герцога?

Гомец. В точности. Всем дневным патрулям приказано к назначенному времени находиться на различных местах, которые я им указал; затем они идут, как полагается, по всему городу для наблюдения за порядком. Ни один не знает о другом, каждый думает, что приказ относится к нему одному, и в силу этого мгновенно вся стража может быть стянута вместе, и все подступы к дворцу могут быть заняты. Известны ли тебе причины этого приказа?

Сильва. Я привык повиноваться слепо. И кому же повиноваться легче, чем герцогу, - раз исход дела показывает, что приказ был правилен?

Гомец. Так, так! Мне ведь нисколько не кажется удивительным, что ты оказываешься так же замкнут и молчалив, как он, потому что тебе приходится постоянно быть возле него. Мне это кажется чуждым, оттого что я привык к сравнительно легкой итальянской службе. Верности и повиновению привержен я издавна, а только я привык и потолковать и порассуждать. А вы все молчите и никогда себе этого не позволяете. Герцог, мне кажется, похож на медную башню без ворот, так что гарнизону хоть летай через стены. Недавно я слышал, как он за столом сказал об одном веселом и приятном человеке, что тот похож на скверный шинок с высоко торчащей вывеской, заманивающей пить водку празднующихся, нищих и воров.

Сильва. И разве он не молча привел нас сюда?

Гомец. Об этом нечего и говорить. В самом деле, кто был свидетелем его мудрости, того, как он из Италии привел армию сюда, тот видел немало. Как он,

словно извиваясь, проскользнул между французами, сторонниками короля и отступниками, между швейцарцами и членами союза, как он удержал строжайшую дисциплину и сумел легко и беспрепятственно провести поход, который считался таким опасным? Повидали мы кое-что, есть чему у нас поучиться.

Сильва. А здесь-то! Разве не тихо все и не спокойно, словно никакого восстания и не было?

Гомец. Ну, положим, было уже почти совсем тихо, когда мы пришли.

Сильва. В провинциях много спокойнее стало; и если кто еще шевелится, так ради того, чтоб удрать. Только и этим он скоро, кажется, запретит все пути.

Гомец. Теперь-то приобретет он благоволение короля.

Сильва. А для нас нет ничего важнее, как его благоволение сохранить. Как приедет сюда король, - разумеется, не останется без награды ни герцог, ни всякий, кого он представит.

Гомец. Ты думаешь, приедет король?

Сильва. Такие предполагаются приготовления, что это в величайшей мере вероятно.

Гомец. Меня вы в этом не убедите.

Сильва. Только уж ты, по крайней мере, этого не высказывай! Потому что если король и не собирается сюда приехать, так это настолько невозможно, что в это должны верить.

Фердинанд, незаконный сын Альбы, входит.

Фердинанд. Отец еще не вышел?

Сильва. Мы ждем его.

Фердинанд. Князя скоро будут.

Гомец. Сегодня приедут?

Фердинанд. Принц Оранский и Эгмонт.

Гомец (*тихо Сильве*). Я кое-что соображаю.

Сильва. Так держи про себя.

Герцог Альба. (Когда он входит и выходит, прочие расступаются в стороны) .

Альба. Гомец!

Гомец (*выступает вперед*). Господин!

Альба. Караулы расставил и распоряжения дал?

Гомец. В точности. Дневные патрули...

Альба. Хорошо. Подождешь в галерее, Сильва даст тебе знак, когда их собрать и занять подступы к дворцу. Прочее знаешь.

Гомец. Да, господин. (*Уходит.*)

Альба. Сильва!

Сильва. Здесь.

Альба. Все, что я издавна ценил в тебе, - храбрость, решительность, несокрушимую исполнительность, - все покажи сегодня.

Сильва. Благодарю, что вы даете мне случай показать, что я все тот же.

Альба. Как только князья ко мне войдут, сейчас же спешу взять под стражу секретаря Эгмонта. Принял ли ты все меры, чтобы схватить остальных указанных?

Сильва. Положись на нас. Судьба их свершится точно и страшно, как правильно рассчитанное затмение солнца.

Альба. Установил ли ты за ними строгое наблюдение?

Сильва. За всеми, за Эгмонтом по преимуществу. Он единственный с твоим приездом не переменил своего поведения. Целый день с лошади на лошадь, собирает гостей, всегда весел и разговорчив за столом, играет в кости, охотится, а ночью пробирается к возлюбленной. Остальные, наоборот, заметно переменились в своем образе жизни; сидят дома; проходя мимо их дверей, можно подумать, что в доме тяжело больной.

Альба. Так действуй поскорей, пока они против нашей воли не выздоровели!

Сильва. Я принимаю меры. По твоему приказанию мы их осыпаем почтительной услужливостью. Им жутко. Они дипломатически воздают нам робкой благодарностью, чувствуют, что лучше всего было бы бежать, но никто не решается сделать ни шагу; медлят, объединиться не могут, а в одиночку

предпринять что-нибудь смелое мешает дух товарищества. Они бы очень хотели снять с себя всякое подозрение, а становятся все подозрительней. Я уже с радостью вижу, что твой расчет полностью оправдывается.

Альба. Я радуюсь только делу, сделанному до конца, и то если оно далось нелегко; ведь нам остается еще очень многое, над чем предстоит подумать и побиться. Счастье своенравно - часто облагораживает заурядное и ничего не стоящее, а тщательно обдуманное - обесславливает заурядным исходом. Подожди, пока явятся князья. Тогда передай Гомецу приказ занять улицы, а сам спешి взять под стражу писца Эгмонта и прочих, кто тебе указан. Исполнив, явись опять сюда и сообщи моему сыну, чтобы он принес мне об этом известие в заседание совета.

Сильва. Я надеюсь, что нынче вечером буду вправе стоять перед тобой.

Альба идет к сыну, который до сих пор стоял в галерее.

(Тихо.) Я не решаюсь это сказать себе, но надежда моя колебнется. Боюсь, не будет так, как он думает. Я вижу перед собой духов, которые неслышно и вдумчиво на черных чашах взвешивают судьбы князей и многих тысяч. Медленно качается стрелка весов, судьи погружены в глубокие думы; наконец от дыхания своенравной судьбы опускается одна чаша, подымается другая - и все решено. (Уходит.)

Альба (с сыном входя). Каким нашел ты город?

Фердинанд. Все покорилося. Я проехал, как будто для препровождения времени, взад и вперед по улицам. Ваши караулы, расставленные в огромном числе, нагнали столько страху, что и шептаться не решаются. Город похож на поле, когда издалека поблескивает гроза: не видать ни птицы, ни зверя, кроме тех, что еще спешат добраться до какого-нибудь убежища.

Альба. Больше ничего тебе не встретилось?

Фердинанд. Эгмонт с несколькими спутниками проехал верхом на базарную площадь; мы раскланялись; под ним была дикая лошадь, которую я должен был похвалить. "Будем поскорее объезжать лошадей: скоро они нам понадобятся!" - вскричал он, обращаясь ко мне. Сказал, что сегодня еще увидится со мной, придет, по вашему приглашению, совещаться с вами.

Альба. Он с тобой увидится.

Фердинанд. Из рыцарей, которых здесь я знаю, он мне всех больше нравится. Кажется, мы будем приятелями.

Альба. Ты все еще слишком тороплив и мало осмотрителен, постоянно узнаю в тебе легкомыслие твоей матери, которое ее безоговорочно толкнуло в мои руки. Увлекаясь внешним видом людей, ты ввязался слишком поспешно в некоторые опасные отношения.

Фердинанд. Я склоняюсь перед вашей волей.

Альба. Прощаю твоей юной крови эту легкомысленную благожелательность, эту небрежную веселость. Только не забудь, на какое дело я назначен и какую долю мог бы в нем тебе предоставить.

Фердинанд. Напоминайте мне и не щадите меня, где только считаете это необходимым.

Альба (*после паузы*). Сын мой!

Фердинанд. Что, отец?

Альба. Скоро явятся князья, явятся принц Оранский и Эгмонт. Не из недоверия только сейчас открываю тебе, что должно произойти. Они уже больше отсюда не выйдут.

Фердинанд. Что задумываешь ты?

Альба. Решено их арестовать! Ты изумлен? Слушай, что ты должен делать. Раз это случилось, ты должен знать причины. Теперь некогда их излагать. С тобой одним хочу я обсудить самое важное, самое тайное, крепкая связь нас соединяет; ты мне дорог и мил, на тебя хотел бы я все возложить; не одну привычку к повиновению хотел бы я внушить тебе, - способность создавать план, приказывать и выполнять желал бы я возрастить в тебе; оставить тебе великое наследство, королю - полезнейшего слугу; наделить тебя наилучшим, чем сам владею, чтобы ты мог не стыдиться стать рядом со своими братьями.

Фердинанд. Чем бы только ни воздал я тебе за эту любовь, которую ты уделяешь мне одному, меж тем как целое государство дрожит перед тобой!

Альба. Теперь слушай, что нужно делать. Как только войдут князья, всякий подступ ко дворцу будет прегражден. Для этого Гомец получил распоряжения. Сильва поспешит арестовать секретаря Эгмонта и других самых подозрительных. Тебе поручается командование караулом у ворот и во дворах. Прежде всего займи эту комнату рядом надежнейшими людьми. Затем подожди в галерее, пока возвратится Сильва, и принеси мне первую попавшуюся бумагу, как знак, что его поручение выполнено. Затем оставайся в приемной, пока принц Оранский выйдет, иди следом за ним. Я задержу здесь Эгмонта, как

будто должен ему еще что-то сказать. В конце галереи потребуй у принца Оранского шпагу, призови караул и быстро возьми под стражу этого опаснейшего человека, а я возьму Эгмонта здесь.

Фердинанд. Повинуюсь, отец, - впервые с тяжелым сердцем и тревогой.

Альба. Прощаю; это - первый великий день в твоей жизни.

Сильва входит.

Сильва. Посланный из Антверпена. Письмо от принца Оранского. Он не будет.

Альба. Это посланный говорит?

Сильва. Нет, это сердце мое говорит.

Альба. Твоими устами говорит мой злой гений. (*Читая письмо, он делает знак обоим, и они отходят в галерею. Он один остается на авансцене.*) Он не придет! До последней минуты он, оттягивая, не обнаруживал себя. Теперь дерзает - не явиться! На этот раз умный догадался достаточно умно - не оказаться умным! Это подвигает стрелку часов. Еще маленькое продвижение этой стрелки - и великое дело совершено или упущено, упущено невозвратно, потому что его невозможно ни наверстать, ни утаить. Давно я взвесил основательно все и предположил также и этот случай; определенно назначил себе, что нужно делать и в этом случае; а теперь, когда пришло время исполнить это, я едва удерживаюсь, чтобы за и против не боролись у меня в душе. Стоит ли хватать других, когда он уходит из моих рук? - Неужто я брошу все это и дам ускользнуть Эгмонту со всеми своими, которых так много и которые теперь, может быть, только сегодня в моих руках? Так и тебя одолевает судьба, тебя неодолимого? Так длительно все это обдумывалось, так тщательно подготавливалось! Какой прекрасный, какой великий план! Как надежда близка к осуществлению! А теперь, в решительное мгновение стоишь между двух зол: словно из урны вынимаешь ты темный жребий; что выпадет - еще сокрыто и неизвестно тебе, чет или нечет. (*Внимательно прислушивается, подходит к окну.*) Это он - Эгмонт! Твой ли конь так легко примчал тебя сюда и не испугался ни запаха крови, ни духа с блещущим мечом, который встречает тебя у ворот? Слезай. Вот ты одной ногой в могиле, а вот и другой. Да, гладь его, потрепи по холке за верную службу - в последний раз! И нет мне выбора. Во второй раз Эгмонт уже не отдастся тебе в таком ослеплении, как теперь. Сюда!

Фердинанд и Сильва поспешно входят.

Вы сделаете, что я приказал! Я своей воли не изменяю. Я, как решено, задержу Эгмонта, пока ты мне не принесешь извещение от Сильвы. Оставайся поблизости. А у тебя судьба отнимает великую заслугу - собственной рукой схватить величайшего врага короля. (*Сильве.*) Спешите! (*Фердинанду.*) Иди ему навстречу. (*Остается несколько мгновений один и ходит молча взад и вперед.*)

Эгмонт входит.

Эгмонт. Я явился услышать веление короля, узнать, какой службы он ждет от нашей верности, которая навеки ему отдана.

Альба. Прежде всего он желает слышать ваш совет.

Эгмонт. По какому обстоятельству? Оранский также приедет? Я предполагал, что он здесь.

Альба. Мне жаль, что его нет с нами именно в этот важный час. Вашего совета, вашего мнения желает король - о том, как вновь сделать счастливыми эти области. Да, он питает надежду, что вы будете мощно содействовать успокоению смятений и основанию полного и твердого порядка провинций.

Эгмонт. Вы имеете возможность лучше меня знать, что все уже достаточно успокоилось, и было бы еще спокойнее, если бы появление новых войск не взволновало умов страхом и тревогой.

Альба. Вы, кажется, желаете указать, что было бы всего лучше, если бы король вовсе не доставил мне случая расспрашивать вас.

Эгмонт. Простите! Не мое дело обсуждать, следовало ли королю посылать войско, или гораздо могущественнее подействовала бы одна сила высочайшего присутствия. Войско здесь, короля нет. Мы, однако, были бы очень неблагодарными, очень забывчивыми, если бы не помнили, чем обязаны правительнице. Признаем, она своим образом действий, столь же мудрым, сколь мужественным, привела бунтовщиков к успокоению, применяя силу и проницательность, убеждение и ловкость, и, к удивлению всего мира, в несколько месяцев возвратила мятежный народ к его обязанностям.

Альба. Не отрицаю этого. Возмущение укрощено, и, кажется, все возвратилось в пределы повиновения. Но выйти из них опять - разве это не зависит единственно от произвола? Кто может воспрепятствовать народу разнуздаться? Где сила сдержать его? Кто отвечает нам за то, что и дальше он покажет себя верным и покорным? Его добрая воля - единственный залог, какой у нас есть.

Эгмонт. А разве добрая воля народа не вернейший, не благороднейший залог? Боже мой, когда же король может чувствовать себя тверже, чем когда стоят все за одного и один за всех? Тверже - перед внутренними и внешними врагами?

Альба. Но ведь нам нельзя быть уверенными, что теперь здесь так и обстоит дело?

Эгмонт. Если бы король подписал всеобщую амнистию, он успокоил бы умы; и скоро будет очевидно, как вместе с доверием опять возвращаются верность и любовь.

Альба. И всякий, кто оскорбил королевское величество, оскорбил святыню религии, пошел бы на все четыре стороны свободный и вольный! Другим остался бы живым примером, как чудовищные преступления остаются безнаказанными!

Эгмонт. Но преступление по неразумию или от опьянения разве не лучше простить, чем жестоко наказать? В особенности там, где есть крепкая надежда, прямая уверенность, что злые дела больше не возвратятся? Разве оттого не тверже стояли короли? Разве не будут восхваляться современниками и потомками те самые, которые оскорбление своего достоинства стали бы прощать, терпеть и презирать? Не будут ли они именно в силу этого чтить наравне с божеством того, кто слишком велик, чтобы до него могло достичь всякое поношение?

Альба. Вот именно, поэтому король обязан вступаться за почитание бога и религии, а мы - за достоинство короля. Наш долг отомстить, если выше нас стоящий презрел покарать. Когда я даю совет, ни один виноватый не должен радоваться своей безнаказанности.

Эгмонт. Ты думаешь, что настигнешь их всех? Разве не узнаем каждый день, что страх бросает их туда и сюда и вон из страны? Богатейшие будут бегством спасать имущество, себя самих, детей своих и друзей; бедняк запродаст соседу свои рабочие руки.

Альба. Они будут это делать, если не сумеют им воспрепятствовать. Поэтому и ждет король помощи советом и делом от каждого князя, усердия от каждого наместника, а не рассказней о том, как дело обстоит, да что могло бы быть, если бы всему дать идти, как оно идет. Видеть прямо перед собой великое зло, убаюкивать себя надеждами, полагаться на время, вмешиваться подчас во все это, как в масленичное представление, так что все ходуном ходит, и со стороны кажется, будто что-то делается, когда ничего делать невозможно, - разве это не

значит внушить подозрение, что с удовольствием любишь возмущением и не прочь его если не вызвать, то поддержать?

Эгмонт (*готовый вспылить, сдерживается и говорит после небольшой паузы*). Не всякий замысел очевиден, и замыслы иных людей легко толковать в дурную сторону. Ведь необходимо прислушаться к тому, что говорят всюду, будто бы замысел короля не в том, чтобы управлять провинциями по однородным и ясным узаконениям, охранить величие религии и даровать всеобщий мир своему народу, а гораздо более клонится к тому, чтобы их безусловно поработить, лишить старинных прав, сделаться хозяином их собственности, ограничить прекрасные права дворянства, ради которых дворянин и мог только служить ему, ему всецело посвящать жизнь. Религия, говорят, оказывается только великолепным занавесом, за которым скрываясь, тем легче задумать любое опаснейшее предприятие. Народ опустился на колени, молится вытканым на нем священным изображениям, а за занавесом притаился птицелов, который хочет его провести.

Альба. И это мне приходится от тебя выслушивать?

Эгмонт. Это не мои домыслы, а только то, что говорится то здесь, то там, взрослыми и детьми, умными и глупыми, везде и повсюду. Нидерландцам страшно двойное иго, и кто поручится им за их свободу?

Альба. Свобода! Прекрасное слово, если его понимать, как должно. Что разумеют они под свободой? В чем свобода свободнейшего? Исполнять свой долг? И в этом король не будет им препятствовать. Нет, нет! Они не считают себя свободными, если не могут вредить себе и другим. Не лучше ли отказаться от власти, чем управлять таким народом? Если нагрянут внешние враги, о которых не думает ни один горожанин, занятый только ближайшими своими делами, и король будет ждать помощи, тогда они окажутся в несогласии и вступят в заговор со своими врагами. Гораздо лучше их утеснить, чтобы можно было относиться к ним как к детям и как детей направлять к лучшему для них благу. Поверь, народ не бывает ни старым, ни умным, народ всегда остается ребенком.

Эгмонт. Как редко достигает король понимания вещей! Ну разве не должны многие полагаться на многих больше, чем на одного? И не только на одного-единственного, а на небольшое число его слуг, на кучку состарившихся на глазах своего повелителя? Только они имеют право сделаться мудрыми!

Альба. Может быть, как раз потому, что они не оставлены на произвол судьбы.

Эгмонт. Потому-то никто добровольно не оставил бы на произвол судьбы самого себя. Будь что будет! Я на твой вопрос ответил и скажу еще раз: так далее идти не может! Так не должно идти! Я знаю своих земляков. Это - люди, достойные ступать по божьей земле; каждый сам по себе маленький король, крепкий, деятельный, способный, верный, приверженный старым обычаям. Трудно заслужить их доверие, а сохранить легко. Упорные и крепкие! Можно их подавлять, но не подавить.

Альба (*который тем временем несколько раз озираясь*). А если бы тебе пришлось повторить это все в присутствии короля?

Эгмонт. Тем хуже, если бы его присутствие меня устрало! Тем лучше для него, для его народа, если бы он ободрил меня, если бы своим доверием он побудил меня сказать ему еще гораздо больше.

Альба. Все, что полезно, я могу выслушать точно так же, как и он.

Эгмонт. Я бы сказал ему: легко пастуху гнать перед собой стадо овец, вол тянет плуг без сопротивления; но если хочешь скакать на благородном коне, ты должен изучить его мысли и не должен от него неразумно требовать чего бы ни было неразумного. И вот горожанин хочет сохранить свое старинное устройство, хочет, чтобы им управляли его земляки, потому что тогда он знает, куда его будут направлять, потому что от них он может ожидать бескорыстия, участия к своей судьбе.

Альба. А разве у правителя не должно быть достаточно мощи, чтобы изменить эти старые обычаи? И разве именно это не должно быть его прекраснейшим преимуществом? Что постоянно в этом мире? И должно ли оставаться одним и тем же государственное управление? Не должно ли с течением времени изменяться каждое положение, и именно потому не делается ли старое устройство источником тысячи бед, уже не удовлетворяя наличному состоянию народа? Боюсь я, что эти старинные права оттого так приятны, что представляют собою убежище, куда сметливый и сильный может укрыться или проскользнуть, ко вреду народа, ко вреду целого.

Эгмонт. А эти самовольные изменения, эти ничем не сдерживаемые захваты верховной власти разве не предвещают, что один хочет делать то, чего тысячи не смеют? Он хочет себе одному предоставить свободу, чтобы иметь возможность исполнять каждое свое желание, осуществлять каждую свою мысль. И если мы вполне доверяем доброму, мудрому королю, отвечает ли он нам за своих преемников - что ни один из них не будет править иначе, как с осмотрительностью и снисхождением? Кто защитит нас от полного произвола,

когда он посылает к нам своих слуг, своих приближенных, которые, не зная страны и ее потребностей, творят суд и расправу, как им заблагорассудится, не встречают никакого противодействия и уверены в полной своей безответственности?

Альба (*который тем временем снова оглянулся*). Нет ничего естественнее, как если король намерен править во всей полноте власти и возлагает исполнение своих повелений предпочтительно на тех, кто наилучшим образом его понимает, желает понимать, кто волю его в точности исполняет.

Эгмонт. Но точно так же естественно городскому обывателю желать, чтоб им управлял тот, кто в одном месте с ним родился и воспитывался, у кого одинаковое с ним понятие о правом и неправом деле, на кого он может смотреть как на брата.

Альба. Однако дворянство не поровну поделилось с этим своим братом.

Эгмонт. Это произошло несколько сот лет назад и теперь переносится без зависти. А если бы без нужды были присланы новые люди, которые захотели бы обогатиться вторично в ущерб целому народу, и люди увидели бы, что они брошены на произвол жестокой, наглой и ничем не ограниченной алчности, этим было бы вызвано смятение, которое само собой нелегко бы улеглось.

Альба. Ты говоришь мне то, чего я не должен был бы выслушивать: и я здесь - чужой.

Эгмонт. Уже одно то, что я тебе это говорю, показывает, что я таким тебя не считаю.

Альба. И все равно я не хотел бы этого от тебя слышать. Король послал меня в надежде, что я встречу здесь поддержку дворянства. Королевская воля - подлинная воля короля. Король путем глубокого раздумья постиг, что служит на пользу народу. Невозможно, чтобы все оставалось по-прежнему. Намерение короля - обуздать их ради собственного их блага, принудить их, если уж тому быть, к их собственному благоденствию, пожертвовать вредными горожанами, чтобы остальные обрели спокойствие и могли пользоваться благом мудрого управления. Именно таково его решение, именно об этом объявить дворянству дан мне приказ, и его именем я требую совета, как, а не что должно быть исполнено, потому что это он постановил.

Эгмонт. К несчастью, слова твои оправдывают ужас народа, всеобщий ужас! Ведь, значит, он постановил то, чего не должен постановлять никакой властитель. Мощь своего народа, разум его, самое понятие его о самом себе он

хочет обессилить, подавить, уничтожить ради того, чтобы получить возможность удобно управлять им. Он хочет погубить глубинное ядро его самобытности, разумеется, в намерении сделать его счастливым, он хочет обратить его в ничто, с тем, чтобы он превратился во что-то, в совсем иное что-то. О, если его намерение и хорошо, оно худо исполнится! Не королю противятся; только тому королю противодействуют, который, готовясь пойти по ложной дороге, делает первые несчастные шаги.

Альба. Судя по тому, как ты настроен, желание сговориться с тобой представляется напрасной попыткой; не высоко мнишь ты о короле и презрительно - о его советах, если сомневаешься в том, что все уже обдумано, проверено и одобрено. Мне не поручено наново перебирать все "за" и "против". От народа требую я покорности, а от вас, его первых, благороднейших представителей, помощи советом и делом, как залог безусловного долга.

Эгмонт. Тrequй наших голов - и дело сделано! Склонить ли шею под это иго или придется ей поникнуть под топором, - все равно для благородной души. Напрасно я так много говорил: воздух потряс, а больше ничего не достиг.

Фердинанд входит.

Фердинанд. Извините, что прерываю вашу беседу. Вот - письмо, и его податель настаивает на спешном ответе.

Альба. Позвольте мне взглянуть, в чем дело. (*Отходит в сторону.*)

Фердинанд. Прекрасную лошадь привели для вас люди ваши.

Эгмонт. Да, не дурна. Она у меня уже давненько; собираюсь ее кому-нибудь уступить. Если вам нравится, может быть, мы сторгуемся.

Фердинанд. Отлично! Давайте.

Альба кивает сыну, и тот отходит в глубину сцены.

Эгмонт. Прощайте! Отпустите меня: мне, ей-богу, больше нечего сказать.

Альба. Счастливо помешал тебе случай еще полнее выдать свои мысли! Неосмотрительно вскрыл ты изгибы своего сердца и обличаешь себя суровее, чем мог бы это сделать ненавистный противник.

Эгмонт. Этот укор меня не беспокоит: я достаточно знаю себя самого и сознаю, как всецело принадлежу я королю, гораздо более многих, которые в службе ему служат только себе сами. Жаль мне прекращать этот спор непорешенным, и желаю только, чтобы поскорее смогли нас соединить служба властителю и

благо страны. Вторичная беседа, присутствие прочих князей, которых нынче нет, быть может, приведут в более счастливую минуту к тому, что сегодня кажется невозможным. С этой надеждой я удаляюсь.

Альба (*который тем временем подает знак сыну*). Стой, Эгмонт! Твою шпагу!

Средние двери отворяются - видна галерея, занятая стражей, которая остается неподвижной.

Эгмонт (*который в изумлении несколько времени молчит*). В этом был умысел? Ты за тем меня звал? (*Хватаясь за шпагу, словно желая обороняться.*) Разве безоружен я?

Альба. Так приказал король. Ты - мой пленник.

Одновременно с обеих сторон входят вооруженные люди.

Эгмонт (*после некоторого молчания*). Король? Оранский! Оранский! (*После паузы, отдавая шпагу.*) Так возьми ее! Она много чаще защищала дело короля, чем эту грудь обороняла.

Он выходит в средние двери; вооруженные, находящиеся в комнате, следуют за ним; сын Альбы также. Альба продолжает стоять на месте. Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

УЛИЦА. СУМЕРКИ

Клерхен. Бракенбург. Горожане.

Бракенбург. Милая, бога ради, что ты затеваешь?

Клерхен. Иди со мной, Бракенбург! Ты, верно, не знаешь людей. Мы, несомненно, освободим его. Ведь что же может сравниться с вашей к нему любовью? Клянусь, что всякий чувствует в себе пламенеющее желание спасти его, отвести опасность от бесценной жизни и вернуть свободу свободнейшему. Иди! Дело только в кличе - созвать их. У них в душе еще всецело живо все, чем

они обязаны ему! И знают они, что только его мощная рука отвращает от них гибель. И ради себя и ради него они должны на все отважиться. А на что мы идем? Отдать нашу жизнь - не больше, которую стоит ли беречь, если он погибнет.

Бракенбург. Несчастная! Ты не видишь насилия, что медными цепями нас оковало.

Клерхен. Оно не представляется мне непреодолимым. Не будем тратить времени, перебрасываться ненужными словами. Вот сюда идет несколько человек старых, прямодушных, мужественных! Слушайте, друзья! Соседи, слушайте! Скажите, что Эгмонт?

Плотник. Что нужно этой девочке! Пусть она замолчит!

Клерхен. Подойдите ближе, чтобы нам шепотом говорить, пока не объединимся и не окрепнем. Нам нельзя мешкать ни одного мгновения! Бесстыдное тиранство, которое посмело оковать его, уже блещет клинком, чтобы его сразить. Друзья! Сумерки надвигаются, и с каждым их шагом мне все страшней. Боюсь этой ночи! Идите! Разделимся, быстрым бегом - от жилища к жилищу, вызовем горожан. Каждый бери старое свое оружие! На городском рынке мы опять сойдемся вместе, и каждого поток наш увлечет вперед. Враги глядь! - окажутся окружены, и затоплены, и задавлены. Что может против нас пригоршня холопов? И он опять возвращается в наш круг, оказывается на свободе и может наконец нас благодарить, нас, неоплатных должников своих. И может быть - наверное! - он увидит утреннюю зарю уже под вольным небом.

Плотник. Что на тебя нашло, девушка?

Клерхен. Неужто возможно, что вы меня не понимаете? О графе говорю я! Говорю об Эгмонте!

Еттер. Не называйте этого имени! Оно грозит смертью.

Клерхен. Этого имени! Как? Не называть этого имени? Да кто же не называет его по любому поводу? Да где же только оно не написано? По этим звездам я часто читала его всеми буквами. Не называть? Что это значит? Друзья! Добрые, дорогие соседи, вы бредите. Опомнитесь! Не глядите на меня с таким оцепенением и страхом! Не озирайтесь боязливо по сторонам! Я призываю вас только к тому, чего всякий из нас желает. Разве мой голос - не прямой голос вашего собственного сердца? Кто же в эту ужасную ночь, прежде чем лечь в тревоге на свое ложе, не бросится на колени, чтобы усердной молитвой

вымолить его у неба? Спросите друг друга! Спроси каждый самого себя, и кто не скажет за мной: "Свобода Эгмонта или смерть!"

Еггер. Спаси нас, господи! Ведь это же чистое несчастье.

Клерхен. Останьтесь! Останьтесь и не отшатывайтесь от его имени, к которому вы в прежнее время стремились навстречу с такой радостью. Когда клич возвещал вам, когда раздавалось: "Эгмонт едет! Он едет из Гента!" тогда счастливыми считали себя жители тех улиц, по которым он должен был проехать верхом. И когда вы слышали топот его лошадей, всякий бросал свою работу, и по озабоченным лицам, которые вы выставляли из окошка, проходил от его облика солнечный луч, сияние радости и надежды. Тогда на пороге поднимали вы детей своих высоко и толковали им: "Смотри, это - Эгмонт! Он, величайший! Вот он! Вот он, от которого вы в свое время дождетесь лучших времен, лучших, чем времена бедных отцов ваших!" Не допустите ваших детей когда-нибудь спросить вас: "Куда же он девался? Куда же девались времена, вами обещанные?" Итак, мы только болтаем? Кто складывает руки, тот предает его!

Зуст. Стыдитесь, Бракенбург! Удержите ее! Не допускайте до беды!

Бракенбург. Клерхен, милая! Пойдем! Что скажет матушка? Может быть...

Клерхен. Что же, я ребенок, по-твоему? Или не в своем уме? Что может быть? От этой ужасной действительности ты отрываешь меня без всякой надежды. Вы должны послушаться, и вы послушаетесь меня. Ведь я вижу - вы оторопели и собственными силами не можете очнуться. Вы хоть только взгляд один бросьте сквозь наступившую грозную опасность на только что прошедшее. Подумайте о будущем! Что же, можете вы жить? Будете вы жить, раз он погибнет? С его дыханием улетит последнее веяние свободы. Чем был он для вас? Ради кого предал он себя крайней опасности? Раны его сочились кровью и заживали только для вас. Великодушную душу, которая всех вас вмещала в себе, сдавила тюрьма, и вокруг нее уже носится жуткий ужас коварного убийства. Может быть, он думает о вас, надеется на вас - он, привыкший только давать, только действовать.

Плотник. Пойдемте, братцы!

Клерхен. Нет у меня ни рук, ни разума, как у вас, да есть то, чего как раз вам недостает, - отвага и презрение опасности. Если бы только мой дух мог воспламенить вас! Если бы могла я прижать вас к моей груди и согреть и вызвать к жизни! Идите! Среди вас пойду я! Как, развеваясь, беззащитное знамя

предводительствует благородным войском бойцов, так должен мой дух пламенеть над вашими головами, так любовь и отвага должны шаткий, разрозненный народ объединить в грозное войско.

Еггер. Отведи ее прочь. Мне ее жалко.

Горожане уходят.

Бракенбург. Клерхен! Разве не видишь ты, где мы?

Клерхен. Где? Под небом, которое, казалось, прекраснее раскидывалось каждый раз, когда проходил под ним тот благородный человек. Из этих окон глядели - четыре, пять голов одна над другой. У этих дверей топтались они и кланялись, когда он взглядывал на этих трусов. Ах, как они любы мне были за то, что так почитали его! Когда бы он был тиран, они могли бы отойти в сторону при его падении. Но они же любили его! О, своими руками вы охотно хватались за шапки, а меч ими схватить не можете! - Бракенбург, а мы? Нам ли бранить их? Эти руки, так часто его обнимавшие, что делают они для него? Хитростью так много дел на свете делалось. Ты знаешь все пути и перепутья, знаешь старый замок. Все можно сделать, придумай мне план!

Бракенбург. Кабы пошли мы домой!

Клерхен. Ладно!

Бракенбург. Там на углу вижу я караул Альбы. Послушай же сердцем голос благоразумия. Ведь не считаешь ты меня трусом? Разве не веришь ты, что за тебя я умереть готов? Оба мы тут с ума сошли, я не меньше тебя. Неужто не видишь ты, что есть вещи невозможные? Если бы ты пришла в себя! Ты потеряла голову.

Клерхен. Потеряла голову? Отвратительно! Бракенбург, вы голову потеряли. Когда вы громогласно чествовали героя, называли его другом, защитой, надеждой, возглашали ему виват, только он появлялся, - я тогда стояла в своем углу, наполовину приотворяла окошко, подслушивала, притаясь, и сердце во мне стучало сильнее, чем у вас всех, вместе взятых. Оно и теперь бьется сильнее всех ваших сердец! Вы прячетесь, когда приходится туго, вы отрекаетесь от него и не чувствуете, что сами пропадете, если он погибнет.

Бракенбург. Иди домой.

Клерхен. Домой?

Бракенбург. Опомнись же! Погляди вокруг! Это улицы, которыми ты только по воскресеньям проходила, по которым ты скромно шла в церковь, где ты, непомерно скромная, сердилась, если я с дружеским приветливым словом подходил к тебе. Ты стоишь и говоришь, и рассуждаешь на глазах всего света. Опомнись, милая! К чему это нас поведет?

Клерхен. Домой! Да, я прихожу в себя. Пойдем, Бракенбург, домой! Знаешь ли ты, где моя родина?

ТЮРЬМА,

освещенная одной лампой. В глубине постель.

Эгмонт (один). Старый друг! Всегда верный сон, неужели и ты бежишь от меня, как остальные друзья? Как благожелательно нисходил ты на мою вольную голову и освещал сновидения мои, словно прекрасный миртовый венок любви. Окруженный оружием, на гребне жизненной волны, легко дыша, покоился я, словно полный растущих сил младенец, на руках у тебя. Когда бури гудели в ветвях и листьях, ветви и вершины шевелились скрипя, сердцевина сердца моего оставалась незатронутой. Что же теперь колеблет тебя? Что потрясает твердый, верный разум? Я чувствую - это звук смертоносного топора, который впивается в корни мои. Еще я стою прямо, но внутренняя дрожь пронизывает меня. Да, одолевает оно, предательское насилие, подрывает крепкий высокий ствол, и стала засыхать кора, и крона твоя трещит и расщепляется.

Отчего теперь ты, отгонявший так часто от головы своей буйные тревоги, словно мыльные пузыри, отчего не находишь ты сил отогнать предчувствие, которое клоочет в тебе безуданно? С какой поры смерть встречает тебя устранным? Спокойно жил ты среди переменчивых картин смерти, как и среди прочих привычных образов земли! Разве это не он, не ретивый враг, к которому так рвется навстречу крепкая грудь? Нет! Это - тюрьма, прообраз могилы, ненавистный равно герою и трусу. Непереносимо бывало мне в мягких креслах, когда на правительственных заседаниях князя толклись на одном месте, обсуждая дела, которые ничего не стоило порешить, и в мрачных стенах зала потолок и крыша давили меня. Тогда спешил я прочь, как только было возможно - и скорей на коня, дыша всей грудью! И тотчас на волю, где мы - у себя! В поле, где от земли исходит непосредственная благодать природы и чувствуешь вокруг все веющие с неба благословения светил; где мы, словно земнородные исполины, от соприкосновения с матерью нашей с большею силой порываемся ввысь; где мы во всех жилах ощущаем целое человечество и человеческие стремления; где желание прорваться вперед, осилить, захватить,

волю дать мышцам своим, овладеть, покорить - все это огнем разливается по душе молодого охотника; где воин стремительно овладевает прирожденным правом на весь мир и в страшном своеволии, словно буря с градом, проносится гибелью по лугам, полям и лесам - и не ведает никаких граней, проведенных рукой человеческой.

Ты - только образ, только сон о былом счастье, которым владел я так долго; куда коварно завела тебя судьба? Или она отказывает тебе в смерти, пред ликом солнца никогда не страшной, мгновенной, - с тем, чтобы в мерзкой плесени приготовить тебе предвкушение могилы. Как противно дышит она на меня с этих камней! Уж коченеет жизнь, и перед ложем, как перед гробом, дрогнула нога.

О тревога! тревога! Ты, что раньше времени начинаешь убивать, - отпусти меня! С каких же это пор Эгмонт одинок, совершенно одинок в этом мире? Бесчувственным делает тебя сомнение, а не счастье. Неужели правый суд короля, которому ты всю жизнь доверял, неужели дружелюбие правительницы, которое было почти (ты должен в этом себе признаться)... почти любовью, неужели все это сразу, как ночью огненный узор ракет, пропало и снова оставляет тебя одного на темном пути? Разве во главе друзей твоих Оранский не отважится на смелый замысел? Разве не сплотится народ и мощным напором не выручит старого друга?

О, не сдерживайте, стены, замкнувшие меня, внушенного благом напора столь многих душ, стремящихся ко мне! И мужество, что прежде пролилось на них из глаз моих, пускай вернется теперь из их сердец опять в мое. О да, они поднимаются тысячами, они идут, они возле меня становятся! Вот их мольба спешит подняться к небу и вопиет о чуде. И если ради моего спасенья не снидет ангел, - увижу, как они мечи и копыа схватят. Ворота - в щепы, распадаются решетки, и стены рушатся под их руками, - и подымается Эгмонт, счастливый, навстречу занявшемуся дню. Сколько знакомых лиц встретит меня, ликуя! Ах, Клерхен, будь ты мужчиной, верно, тебя бы первой здесь увидел я, и поблагодарил бы я за то, что взято от короля так тяжело, - свободу.

ДОМ КЛЕРХЕН

Клерхен (*выходит из комнаты с лампой и стаканом воды; ставит стакан на стол и подходит к окну*). Бракенбург? Это вы? Но что же это я слышала? Еще никого? Нет, там никто не приходил. Я поставлю лампу на окно, чтобы он видел, что я еще не легла, что я еще жду его. Он обещал мне весть подать.

Весть? Какой ужас возможен! Эгмонт приговорен! Какой же суд смеет его призывать? А они осуждают его. Король осуждает его? Или герцог? А правительница уклоняется! Оранский медлит, и все его друзья! Не это ли тот самый свет, про который я так много слышала, что он изменчив, ненадежен, и ничего в толк не могла взять? Это ли свет? Кто оказался так жесток, чтобы его, дорогого, преследовать? Какой же силы была злость, чтобы всеми признанного вмиг низвергнуть! Но это так, это так! О Эгмонт, мне думалось так же надежно тебе перед богом и людьми, как в объятиях моих! Что была я тебе? Ты своей называл меня. Всю жизнь свою отдавала я жизни твоей. Понапрасну тянусь я руками к путам, тебя охватившим. Беспомощен ты, я свободна! Вот ключ от моих дверей. По воле своей могу входить-выходить, да ни к чему я тебе! О, свяжите меня, чтобы я не изошла отчаянием. Бросьте меня в темницу самую глубокую, чтобы биться мне головой о сырые стены, визжать о свободе и грезить о том, как бы я его вызволить могла, кабы путы меня не осилили, кабы на волю его вызволила. Я вот свободна, и в свободе этой ужас бессилия моего. Сама вижу, что неспособна в помощь ему рукой шевельнуть. Ах, на горе и малая частица бытия твоего, твоя Клерхен, как и ты, в плену, из последних сил выбивается в борьбе смертной. Слышу, прокрадывается, покашливает. Бракенбург! Это он! Добрый, бедный, судьба твоя все та же: в ночную пору милая твоя тебе отворяет дверь, но - ах! - для какого несчастного свидания!

Бракенбург входит.

Клерхен. Ты бледен, перепуган, Бракенбург! В чем дело?

Бракенбург. Обходами, опасными путями пробирался я к тебе. Большие улицы все заняты, переулками и закоулками прокрался я.

Клерхен. Рассказывай, что там делается.

Бракенбург (сидясь). Ах, Клара, позволь мне плакать. Я не любил его; это был богач, он сманил у бедного человека единственную овечку на лучшее пастбище. Никогда я не проклинал его. Бог создал меня верным и слабым. В страданиях проходила жизнь моя, и, что ни день, я чаял с ней проститься.

Клерхен. Забудь его, Бракенбург! Забудь себя! Говори мне о нем. Неужто это правда? Неужто он приговорен?

Бракенбург. Приговорен! Я это знаю верно.

Клерхен. Но жив еще?

Бракенбург. Да, жив еще.

Клерхен. Как ты это удостоверишь? Тиранство ночью убивает прекраснейшего! Втайне от глаз людских льется кровь его. Ошеломленный народ боязливо лежит в усыплении и грезит о том, что спасенье придет, что придет исполнение немощного его желания; а тем временем вопреки нашей воле дух его покидает землю. Он уже там! Не обманывай меня! Себя!

Бракенбург. Нет, наверно, он жив! Но - горе! - испанец готовит народу, которого он растоптать хочет, зрелище ужасающее, чтобы насильственно навеки раздавить каждое сердце, которое трепещет желанием свободы.

Клерхен. Продолжай, произнеси спокойно и мой смертный приговор. Все ближе и ближе восхожу я к обитателям горным. Веет уже на меня отрада иных краев - краев свободы. Говори же!

Бракенбург. Я мог заметить по караулам, по отрывочным разговорам, которые то здесь, то там улавливал мимоходом, что на базарной площади что-то ужасное подготавливается. Я пробрался окольным путем, знакомыми ходами к дому брата моего двоюродного и поглядел в окошко на базар. Далеко по кругу то и дело полыхали факелы испанских солдат. Я напряг непривычные глаза - и передо мной из ночи поднялся черный помост, обширный, высокий. У меня в глазах потемнело. Вокруг суетилась и хлопотала целая толпа; всюду, где еще виднелось и белелось дерево, его закутывали и закрывали черным сукном. Под конец они и ступени тоже устлали черным, - я хорошо видел. Они, казалось, совершали приготовления к пышному жертвоприношению. Белое распятие, которое сквозь мрак ночной серебром отливало, высоко водрузили по одну сторону. Я смотрел, и страшное событие казалось мне все вероятнее. Факелы еще мигали кое-где. Наконец они погасли вдали. Сразу омерзительное порождение ночи возвратилось в ее материнское лоно.

Клерхен. Молчи, Бракенбург! Молчи же! Пусть этот покров опустится на душу мою. Исчезли призраки. И ты, благосклонная ночь, даруй покрывало свое взволнованной земле. Не под силу ей долгие сносить отвратительную тягость, в ужасе разверзает она глубокие расщелины свои - и рушится с треском смертоносный помост. И шлет господь одного из ангелов своих во свидетельство посрамления ярости их, и от святого касания вестника падут запоры и скрепы, и зальет он друга нежным сиянием, и выведет, кроткий и тихий, его сквозь ночь на свободу. А втайне и мой путь ведет меня в эту тьму - ему навстречу!

Бракенбург (*удерживая ее*). Дитя мое, куда ты? На что отваживаешься ты?

Клерхен. Тише, Бракенбург, чтобы не разбудить никого! Чтобы самим не проснуться! Знаком тебе этот пузырьчек, Бракенбург? Я шутя отняла его у тебя, когда ты в нетерпении часто стал грозиться, что кончишь с собой. А теперь, друг мой...

Бракенбург. Ради всех святых!

Клерхен. Тебе не помешать ничему. Смерть - моя доля! И пожелай мне легкой, тихой смерти, как ты себе готовил. Дай мне руку! В тот миг, как я распахну темную дверь, из-за которой нет возврата, о, если б я сказать рукопожатием могла тебе, как я тебя любила. Мой брат умер младенцем, тебя я избрала занять его место. Этому сердце твое воспротивилось, мучило себя и меня, все горячее требовал ты того, что тебе не было предназначено. Отпусти мне это и прощай! Позволь мне назвать тебя братом. Это - имя, в котором заключено много имен. Прими от уходящей с верным сердцем последний цветок прекрасный, прими этот поцелуй. Смерть все соединяет, Бракенбург, значит, и нас.

Бракенбург. Так дай мне умереть с тобой! Поделись! Довольно яду здесь, чтоб угасить две жизни.

Клерхен. Останься! Ты должен жить, ты в силах жить. Стой возле матери моей, она без тебя исчахнет в бедности. Будь тем для нее, чем я уже не могу быть. Живите вместе и оплакивайте меня. Оплакивайте родину и того, кто один мог спасти ее! Нынешнее поколение не освободится от этой муки. Неистовая месть - и та не в силах будет всю муку погасить. Изживайте вы, бедные, это время, это безвременье. Сегодня мгновенно мир остановится в тишине, прекратится его круговращение, и пульсу моему осталось биться всего несколько минут. Прощай!

Бракенбург. О, живи с нами, как мы живем для тебя одной! В себе ты нас убиваешь! О, живи и страдай! Мы будем неотлучно стоять возле тебя по обе стороны, и пусть любовь, постоянно внимательная, приготовит тебе прекраснейшее утешение в живительных своих объятиях. Будь нашей! Нашей! Не смею сказать - моей.

Клерхен. Тише, Бракенбург! Не чувствуешь ты, чего касаешься. Где тебе чудится надежда, там для меня - одно отчаяние.

Бракенбург. Раздели с живыми надежду! Помедли на краю пропасти, загляни в нее и оглянись на нас!

Клерхен. Я все это преодолела. Не вызывай меня снова на спор!

Бракенбург. Ты ошеломлена. Объятая ночью, ищешь ты бездны. А свет еще не совсем погас, придет еще день.

Клерхен. Больно мне! Из-за тебя больно! Больно! Грубо разодрал ты завесу перед глазами моими. Да, он займется, день! Напрасно расстилаются туманы и упорно темнеют! Боязливо выглядывает горожанин из своего окна, ночь оставляет за собою черное пятно. Он смотрит - и страшно вырастает при свете смертоносный помост. Вновь страдая, оскверненный божественный лик подымает к отцу молящий взор. Солнце не смеет взойти, не хочет оно означить тот час, когда он должен умереть. Лениво движутся стрелки своим путем, бьет за часом час. Стой! Стой! Теперь пора! Предчувствие утра теснит меня ко гробу. *(Подходит к окну и тайком пьет яд.)*

Бракенбург. Клара! Клара!

Клерхен *(подходит к столу и пьет воду).* Вот тут остаток. Я не убеждаю тебя взять с меня пример. Поступай так, как должен. Прощай! Погаси эту лампу тихонько и немедленно. Я пойду лягу. Прокрадывайся отсюда прочь потихоньку, затвори за собой дверь. Тихо. Не разбуди матушку. Иди, спасайся! Спасайся! Если не хочешь, чтобы тебя сочли моим убийцей. *(Уходит.)*

Бракенбург. И в последний раз она расстаётся со мной так, как всегда. О, если бы могла почувствовать душа человеческая, как она может растерзать любящее сердце! Она оставляет меня покинутым на себя одного, и смерть и жизнь равно мне ненавистны. Умереть одному! Плачьте вы все, кто любит! Нет судьбы горше моей! Она делит со мной смертоносную каплю - и отправляет меня прочь! Она влачит меня за собою - и выталкивает обратно в жизнь. О Эгмонт, какая бесценная судьба выпадает тебе! Она идет впереди, из ее рук венки победный - он твой, она несет навстречу тебе - все небо! И я должен идти вослед? Опять в стороне стоять? Зависть неугасимую в нездешние селения перенести? И на земле нет больше места мне, в аду ль, на небе ль муки ждут равно. Грозная держава небытия как для несчастной души была бы желанна!

Он уходит, сцена остается несколько времени без изменения. Начинается музыка, обозначающая смерть Клерхен; лампа, которую Бракенбург забыл погасить, горит еще несколько времени, потом гаснет.

ТЮРЬМА

Эгмонт спит на постели. Слышится звон ключей, и дверь открывается. Входят слуги с факелами; за ними следуют Фердинанд, сын Альбы, и Сильва, сопровождаемые вооруженными людьми.

Эгмонт пробуждается.

Эгмонт. Кто вы, что так недружелюбно отгоняете сон от глаз моих? Какую весть несет мне жестокий ваш и жуткий вид? Зачем это устрашающее появление? Что за грозный сон решили вы налгать моей полупробужденной душе?

Сильва. Нас посылает герцог возвестить тебе судьбу твою.

Эгмонт. Ведешь ли ты и палача с собой для ее свершения?

Сильва. Слушай - и узнаешь, что ждет тебя.

Эгмонт. Так подобает вам и вашему постыдному почину! Ночью замыслено и ночью совершено. Так легче укрыть это неправоудное деяние! Выступи дерзко вперед ты, что принес меч, скрытый под плащом! Вот голова моя, свободнейшая, какую только отрывало от тела тиранство.

Сильва. Ты заблуждаешься! Что честный судья постановил, того мы не будем скрывать перед ликом дня!

Эгмонт. Итак, бесстыдство переступило все, что возможно понять и помыслить.

Сильва (*берет у одного из возле стоящих приговор, разворачивает его и читает*). "Именем короля и силою чрезвычайной, нам его величеством врученной власти творить суд над всеми подданными его, какого бы они звания ни были, в том числе и рыцарями Золотого Руна, признали мы..."

Эгмонт. Может ли король перелагать эту власть на другого?

Сильва. "...признали мы по предварительном строгом, законном расследовании тебя, Генрих, граф Эгмонт, принц Гаврский, виновным в государственной измене и приговор постановили: имеешь ты быть с рассветом из тюрьмы на торговую площадь выведен и там перед лицом народа в предупреждение всем изменникам через отсечение головы мечом смерти предан. Дан в Брюсселе".

Число месяца и год прочитываются невнятно, так что слушающий их не разбирает.

"Фердинанд, герцог Альба, председатель суда двенадцати". Теперь ты знаешь судьбу свою. Тебе остается малое время, чтобы предаться устройству семейных дел и проститься с близкими.

Сильва с провожатыми уходит. Остаются Фердинанд и двое с факелами; сцена тускло освещена.

ЭГМОНТ (несколько времени углубленный в себя, стоит молча и, не оглянувшись, дает Сильве уйти. Думает, что остался один, но, подняв глаза, видит сына Альбы). Ты стоишь и не уходишь? Хочешь ли присутствием своим увеличить мое изумление, мою тревогу? Хочешь ли еще, пожалуй, принести отцу своему добрую весть о том, что я не по-мужски прихожу в отчаяние? Что ж? Скажи ему! Скажи ему, что он ни меня, ни мира не обманет. Ему, честолобцу, сперва будут за спиной шептать потихоньку, потом все громче и громче говорить, а когда он рано или поздно спустится с этой вершины, тысячи голосов будут в лицо его кричать: "Не благо государства, не достоинство короля, не спокойствие области привели его сюда. Ради себя самого насовествовал он войну, потому что воин войной приобретает влияние. Он вызвал это чудовищное смятение, чтобы в нем оказалась надобность". И я падаю жертвой его низменной ненависти, его мелочной зависти. Да, я знаю, я должен сказать, я, умирающий, смертельно раненный, могу сказать: мне спесивец завидовал; он давно измышлял и обдумывал, как меня уничтожить. Еще тогда, когда мы в молодые годы играли в кости, и груды золота одна за другой с его стороны быстро переходили на мою, он стоял угрюмый с деланным хладнокровием, и его душу пожирала горькая досада больше на мое счастье, чем на свою потерю. Еще вспоминаю я горящий взгляд его и особенную бледность, когда мы на одном общественном празднестве при многотысячной толпе зрителей состязались в стрельбе. Он меня вызвал, и два народа стояли и смотрели; испанцы с нидерландцами бились об заклад. Я его одолел; его пуля прошла мимо, моя попала; громкий дружественный клич моих прорезал воздух. Теперь его выстрел попадает в меня. Скажи ему, что я это понимаю, что я знаю его, что мир презирает всякий знак победы, которого домогается себе на утеху мелкая душа. А ты, если возможно сыну отойти от отцовского обычая, привыкай заранее к стыду, потому что тебе приходится стыдиться того, кого ты хотел бы всем сердцем уважать!

Фердинанд. Я слушаю тебя, не прерывая. Упреки твои тяжки, как удары дубины по шлему. Я ощущаю сотрясение, но я вооружен. Ты в меня попадаешь, но не ранишь меня. Мне ощутительна только боль, разрывающая грудь. Горе мое! Горе! Для какого зрелища возрос я! На какое позорище послан!

Эгмонт. Ты раздражаешься жалобами? Что тревожит, что заботит тебя? Не позднее ли раскаяние в том, что ты принес постыдную присягу твоей службе? Ты так юн и такой счастливой наружности. Ты был ко мне так доверчив, так дружелюбен. Пока я видел тебя, я примирялся с отцом твоим. И так же притворно, более притворно, чем он, заманиваешь ты меня в тенета. Ты гнусный человек! Кто ему верит - верит на свой страх, но кто опасался понадеяться на тебя? Ступай! Ступай! Не похищай у меня немногие мгновения! Ступай! Дай мне собрать себя, забыть весь мир и прежде всего тебя!

Фердинанд. Что я скажу тебе? Стою, смотрю на тебя и не вижу тебя, и не чувствую себя. Нужно ли мне оправдываться? Нужно ли уверять тебя, что я только слишком поздно, только под самый конец узнал намерения отца, что я насильственно, как орудие действовал его волей? Что в том, какое мнение составишь ты обо мне? Ты погиб, а я, несчастный, только стою здесь, чтобы тебя ободрять, чтобы тебя оплакивать.

Эгмонт. Что за непостижимый голос, что за неожиданная отрада встречает меня на пути к могиле? Ты, сын моего первого, моего едва ли не единственного врага, ты сожалеешь обо мне, ты не в числе моих убийц? Скажи! Говори! За кого принимать мне тебя?

Фердинанд. Бесчеловечный отец! Да, я узнаю тебя в этом приказании. Ты знал сердце мое, взгляды мои, за которые так часто попрекал ты меня, как за наследство нежной матери. Чтобы сделать подобным себе, послал ты меня сюда. Увидеть этого мужа, на краю разверстой могилы, во власти насильственной смерти понуждаешь ты меня, чтобы испытал я глубочайшую боль, чтоб я глух стал к любой судьбе, стал бесчувствен решительно ко всему, что бы со мной ни случилось.

Эгмонт. Я изумлен! Возьми себя в руки! Остановись! Говори как мужчина.

Фердинанд. О, быть бы мне женщиной! Чтобы мне могли сказать: "Что тебя беспокоит? Что с тобой?" Назови мне большую, ужаснейшую беду, сделай меня свидетелем более страшного деяния - и я поблагодарю тебя, и я скажу: "Что было? - Ничего".

Эгмонт. Ты как потерянный. Где ты?

Фердинанд. Позволь безумствовать этим страданиям! Позволь мне безудержно горевать! Я не хочу казаться стойким, когда все во мне рушится. Тебя я должен видеть здесь? Тебя? Это - безумие! Ты не понимаешь меня? Да разве ты должен понять меня? Эгмонт! Эгмонт! *(Бросается ему на шею.)*

Эгмонт. Открой же мне тайну!

Фердинанд. Никакой тайны нет.

Эгмонт. Отчего так глубоко тревожит тебя судьба чужого тебе человека?

Фердинанд. Не чужой! Ты мне не чужой! Имя твое было тем, что светило мне в ранней юности, как звезда небесная, прямо в лицо. Как часто я о тебе слышал, спрашивал! Надежда ребенка - юноша, надежда юноши - муж. Так проходил ты вперед передо мной, и всегда впереди, и без зависти видел я тебя впереди, и шел за тобой все вперед и вперед. Теперь надеялся я тебя увидеть наконец, и увидел тебя, и сердце мое полетело тебе навстречу. Тебя предопределил я себе и заново избрал тебя, увидев. Тут только стал я надеяться быть с тобой, жить с тобой, обнимать тебя, тебя! И вот все это оборвалось, - я вижу тебя здесь.

Эгмонт. Друг мой, если это может принести тебе отраду, позволь тебя уверить, что с первого взгляда чувство мое раскрылось тебе навсегда. И послушай меня. Позволь нам обменяться спокойным словом. Скажи мне: это крепкая, неизменная воля отца твоего - убить меня?

Фердинанд. Да, она такова.

Эгмонт. Приговор этот - не пустая ли декорация ужаса, чтоб меня утратить, наказать испугом и угрозой, унижить и королевской милостью снова поднять?

Фердинанд. Нет, - ах! К несчастью, нет! Сперва я сам ласкал себя этой изменчивой надеждой и уже тогда испытывал страх и боль при мысли, что увижу тебя в этом положении. Теперь это все действительно и достоверно. Нет, я не владею собой! Кто окажет мне помощь, даст совет, как избежать неотвратимого?

Эгмонт. Так слушай меня. Если душа твоя так властно порывается спасти меня, если ты ненавидишь насилие, меня сковавшее, то спаси меня! Мгновения дороги. Ты - сын всесильного и сам силен. Устрой наш побег. Я знаю пути, способы тебе не могут быть неизвестны. Только стены эти, только несколько миль отдалают меня от друзей моих. Разорви эти оковы, перенеси меня к ним и будь наш. Верно, король воздаст тебе когда-нибудь за мое спасение. Теперь он захвачен врасплох, а может быть, ничего не знает. Отец твой своевольничает, и высочайшей власти приходится узаконять совершившееся, хотя бы она даже содрогалась перед этим. Ты думаешь? О, выдумай мне путь к свободе! Говори, утоли надежду живой души!

Фердинанд. Молчи! О, молчи! Каждым словом умножаешь ты мое отчаяние! Здесь нет выхода, нет совета, нет побега. Это мучит меня, это захватывает и словно когтями терзает мне грудь. Я сам сплел эту сеть, эти крепкие, тугие узлы, я знаю, как всякой отваге, всякой хитрости отрезаны пути. Я чувствую себя в оковах вместе с тобой и со всеми остальными. Стал ли бы я жаловаться, если бы не испытал всех путей? Я лежал у его ног, уговаривал и молил. Он послал меня сюда, чтобы в это мгновение истребить все, что во мне живет жизнерадостного и веселого.

Эгмонт. Так нет спасения?

Фердинанд. Нет.

Эгмонт (*топая ногой*). Нет спасения! Сладостная жизнь! Благодная привычка бытия и делания! С тобою должен я разлучиться! И разлучиться так скоро! Не в смятении боя, не под шум оружия, не в растерянности схватки примешь ты летучее прощание, не примешь быстрого "прости", не сократишь мига расставания. Мне суждено взять твою руку, взглянуть еще раз в глаза твои, ощутить со всей жизненной силой высокую красоту твою и тогда уже с решимостью оторваться и сказать: "Прости!"

Фердинанд. Я обречен стоять здесь возле и видеть, и быть не в силах удержать, оградить тебя! О, как звучали бы мои жалобы! Какое сердце не вырвалось бы из груди от этого вопля.

Эгмонт. Овладей же собой!

Фердинанд. Ты в силах владеть собой. Ты в силах отречься от себя, ты в силах совершить геройский тяжкий шаг, подав руку неизбежности. А что могу я? Что должен я делать? Ты все преодолеваешь, все можешь выдержать. А мне суждено пережить и тебя и себя самого. На радостном пиру лишился я светоча, в смятении боя - своего знамени. Тусклым, запутанным, хмурым встает передо мною будущее.

Эгмонт. Юный друг мой, которого по странной судьбе я одновременно приобретаю и теряю, ты, претерпевающий за меня смертные муки, за меня болеющий, смотри на меня эти мгновения! Ты не теряешь меня. Если жизнь моя была для тебя зеркалом, в которое ты охотно всматривался, то пусть им же будет смерть моя! Не только тогда люди вместе, когда они друг подле друга. И далекий, и отбывший - жив для нас. Я живу для тебя, а для себя пожил довольно. Каждым днем я радовался; каждый день я, спеша, делал свое дело, как мне указывала совесть моя. Теперь кончается жизнь, как могла она

кончиться давно, давно, еще на песках Гравелингена. Я кончаю жить, - но я жил. Так живи и ты, мой друг, бодро и радостно и не страшись смерти.

Фердинанд. Ты мог, ты должен был сохранить себя для нас. Ты сам убил себя. Часто слушал я, как о тебе разговаривали умные люди; неприязненные, доброжелательные, они долго спорили о твоих достоинствах, но в конце концов сходились в одном: никто не отваживался отрицать, всякий признавал: "Да, он идет по опасному пути". Как часто хотел я получить возможность предостеречь тебя. Неужели у тебя не было друзей?

Эгмонт. Предостерегали.

Фердинанд. А каково мне было опять найти все те же обвинения, по пунктам, в протоколе допроса - и твои ответы! Их вполне достаточно, чтобы тебя извинить, но отнюдь не довольно, чтобы за тобой не признать вины.

Эгмонт. В сторону это! Человек думает, будто он сам управляет своей жизнью. А внутренняя глубочайшая сущность его непреодолимо движется его судьбой. Но не будем размышлять об этом. От этих мыслей я освобождаюсь легко, гораздо труднее - от тревоги за эту страну! Но и об этом есть кому позаботиться. Если бы кровь моя могла пролиться за многих, принести спокойствие моему народу, то она была бы пролита с полной готовностью. К несчастью, этого не будет. Но человеку не следует мудрствовать там, где он уже не может действовать. Если ты можешь удержать, отвратить губительную силу своего отца, сделай это. Но кому это под силу? Прощай!

Фердинанд. Не могу уйти!

Эгмонт. Позволь тебе с самой лучшей стороны рекомендовать моих слуг. У меня служат хорошие люди. Только бы их не разогнали и не были бы они несчастными! А в каком положении Рихард, мой писец?

Фердинанд. Он опередил тебя. Как соучастнику в государственной измене они ему отрубили голову.

Эгмонт. Бедняга! Еще одно - и тогда прощай. Больше нет сил. Как бы усиленно ни работал дух, природа в конце концов непреодолимо заявляет свои права, и, как ребенок, ужаленный змеей, вкушает укрепляющий сон, так усталый человек в последний раз ложится на землю у врат смерти и засыпает глубоким сном, как будто ему предстоит еще долгий страннический путь. Еще одно. Я знаю одну девушку; ты не будешь презирать ее за то, что она была моею. И вот я поручаю ее тебе, чтобы умереть спокойно. Ты - благородный человек. Женщина, которая

приобретает дружбу такого человека, спасена. Жив ли старик Адольф? На свободе ли он?

Фердинанд. Тот бодрый старец, что постоянно сопровождал вас верхом?

Эгмонт. Да, он.

Фердинанд. Он жив и свободен.

Эгмонт. Ему известен ее дом. Пусть он тебя проводит, и содержи его до конца его дней за то, что он покажет тебе дорогу к этому сокровищу. Прощай!

Фердинанд. Я не уйду!

Эгмонт (*оттесняя его к двери*). Прощай!

Фердинанд. О, дай мне еще остаться!

Эгмонт. Друг, не надо прощания. (*Провожает Фердинанда до двери и там расстается с ним.*)

Фердинанд, ошеломленный, поспешно уходит.

Эгмонт. Ты, черная душа! Не думал ты оказать мне сыном своим это благодеяние. Благодаря ему свободен я от забот и страданий, от страха и малейшего тягостного чувства. Тихо и неотступно требует у меня природа последней дани. Жизнь прошла, решено. И что последней ночью, непорешенное, понуждало меня бодрствовать на ложе моем, то несомненной уверенностью погружает ныне в сон мои чувства.

Музыка.

(*Садится на постели.*) Сладостный сон! Приходишь ты, как чистое счастье, не вымоленный, не вынужденный, своей благою волей. Узлы суровых промыслов разрешаешь, сливаешь в хор образы радости и страдания; без преград наплывает хор внутренних гармоний, и, обволакиваемые блаженным безумием, в нем тонем мы и быть перестаем. (*Засыпает.*)

Музыка сопровождает его дремоту. За ложем его как бы раскрывается стена и является сияющее видение. Свобода в небесном одеянии, залитая светом, покоится на облаке. У нее черты Клерхен. Она склоняется над спящим героем. В лице ее чувство сострадания, она как бы оплакивает его.

Вскоре она успокаивается и бодрым движением показывает ему связку стрел, а затем жезл и шляпу. Она призывает его к радости и, предвещая, что смерть

его принесет свободу областям, признает его победителем и вручает ему лавровый венок. Когда она с венком приближается к его голове, Эгмонт делает движение, как человек, который шевелится во сне, - таким образом, что ложится прямо к ней лицом. Она держит венок парящим над его головой.

Совсем издали слышится воинственная музыка труб и флейт. Под их едва слышные звуки видение исчезает. Звуки становятся громче.

Эгмонт пробуждается. Тюрьма слабо озарена утренним светом. Первое его движение схватиться за голову. Он встает и глядит вокруг, продолжая держать руку на голове.

Венок исчез! Ты, чудное видение, - тебя развеял дневной свет. Да, то были они, были вместе, обе сладчайшие радости моего сердца. Божественная свобода - образ любимой моей приняла она. Пленительная девушка облеклась в небесное одеяние подруги своей. В суровый миг предстали они, слитые воедино, - в суровый, а не в нежный. С обагренными кровью стопами выступила она передо мною, с веющими складками одежды, обрызганными кровью. Была то кровь моя и многих благородных. Нет, она пролита была не напрасно. Шагайте через нее! Отважный народ! За тебя - богиня победы! И как море прорывается сквозь ваши молы, так прорвите, так разметите в прах нагромождения тиранства и смойте его, утопающее, с вашей земли, которую оно себе присвоило, - долой!

Трубы ближе.

Слушай! Слушай! Как часто призывал меня этот звук - свободными шагами на поле борьбы и победы! Как бодро ступали товарищи на опасный и славный путь! И я иду из этой тюрьмы навстречу почетной смерти. Я умираю за свободу: для нее жил я, за нее сражался и ныне в муках ей приношу себя в жертву.

Задний план занимает ряд испанских солдат с секирами.

Да, собирайтесь! Смыкайте ряды свои! Я вас не боюсь. Я привык стоять впереди ряда копий лицом к другому ряду и, окруженный грозящею смертью, только с удвоенной силой чувствовать мощную жизнь.

Барабанный бой.

Враг тесным кольцом окружает тебя! Блещут мечи. Друзья! Высочайшее мужество! За вашей спиной - отцы и матери, жены и дети. (Указывая на стражу.) А этих понуждает пустое слово властелина, не собственная доблесть.

Защищайте свое достояние! И за спасение любимого сокровища умирайте радостно, чему пример вам ныне подаю!

Барабанный бой. В то время, как он проходит прямо к солдатам стражи и к заднему выходу, падает занавес.

Музыка затихает, победной симфонией кончая пьесу.

[Иоганн Вольфганг Гёте](#), 1774-1788